

ДЖЕК ЛОНДОН

МАРТИН
ИДЕН



ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

И его вдруг охватило
честолюбивое желание добиться бессмертия.

Подарочные издания. Коллекция классики

Джек Лондон

Мартин Иден

«ЭКСМО»

1909

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Лондон Д.

Мартин Иден / Д. Лондон — «Эксмо», 1909 — (Подарочные издания. Коллекция классики)

ISBN 978-5-04-179152-0

Выдающийся роман Джека Лондона о сильном мужчине, который смог достичь своей цели. Но какой ценой?.. Мартин Иден — простой моряк, человек из низов. Он проходит через тяжелые испытания и благодаря упорному труду и необъятной энергии превосходит своих учителей и меняет свою жизнь. Творческий дар становится пропуском Мартину Идену в высший свет. Отныне две цели неотступно стоят перед ним: слава писателя и обладание любимой женщиной. Только мечты непредсказуемы и коварны: неизвестно, когда они сбудутся и принесет ли это долгожданную радость. Это самое известное произведение Джека Лондона, оно о поиске места в жизни, муках творчества и муках любви, во многом автобиографичное. Произведение показывает, как человек с силой воли и упорством может многого достичь. Помогает быть сильным в любой ситуации, учит отстаивать свою позицию. Побуждает любить жизнь во всех ее мельчайших проявлениях и жадно хвататься за каждый ее миг. Великолепное подарочное издание со специально отрисованной для этого издания обложкой известной художницы Ольги Закис и иллюстрациями Виталия Аменова внутри! Издание сопровождается комментариями литературоведа-переводчика к роману. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-179152-0

© Лондон Д., 1909

© Эксмо, 1909

Содержание

Глава 1	8
Глава 2	18
Глава 3	27
Глава 4	33
Глава 5	36
Глава 6	41
Глава 7	46
Глава 8	54
Глава 9	60
Глава 10	67
Глава 11	72
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Джек Лондон

Мартин Иден



Джек Лондон
1876–1916

© Облонская Р., перевод на русский язык. Наследник, 2022
© Нора Галь, перевод стихотворений. Наследники, 2022
© Антонов С., комментарии, 2022
© Аменов В., иллюстрации, 2022
© Волкова Ю., сопроводительная статья, 2022
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *



Глава 1

*Пусть бурлит во мне кровь
весь мой жизненный срок!
Пусть от хмеля мечты
я всегда буду пьяным!
И обитель души моей —
глины комок —
Пусть не сгинет
во прахе покинутым храмом!¹*



Он отпер дверь своим ключом и вошел, а следом, в смущении сдернув кепку, шагнул молодой парень. Что-то в его грубой одежде сразу же выдавало моряка, и в просторном холле, где они оказались, он был явно не к месту. Он не знал, куда девать кепку, стал было засовывать ее в карман пиджака, но тот, другой, отобрал ее. Отобрал спокойно, естественно, и парень, которому тут, видно, было не по себе, в душе поблагодарил его. «Понимает, – подумал он. – Поможет, все обойдется».

Парень враскачку шел за тем, другим, невольно расставляя ноги, словно этот ровный пол то, кренясь, взмывал на волне, то ухал вниз. Шел вперевалку, и большие комнаты становились

¹ Перевод С. Антонова. Цитата из стихотворения американского писателя, историка-любителя и этнографа Джона Гнейзенау Нейхардта (1881–1973) «Молитва юноши» (1907, ст. 1–4).

тесными, и страх его брал, как бы не задеть широкими плечами дверной косяк, не скинуть какую-нибудь дорогую вещь с низкой каминной полки. Он шарахался то вправо, то влево и лишь умножал опасности, что мерещились ему на каждом шагу. Между роялем и столом посреди комнаты, на котором громоздились книги, могли бы пройти шестеро в ряд, он же пробирался с опаской. Могучие ручищи болтались по бокам. Он не знал, куда их девать, вдруг в страхе отпрянул, точно испуганная лошадь, – вообразил, будто сейчас свалит груды книг на столе, и едва не наскочил на вращающийся табурет перед роялем. Он заметил, какая неприужденная походка у того, впереди, и впервые осознал, что сам ходит совсем не как все прочие люди. И на миг устыдился своей неуклюжести. На лбу выступили капельки пота, он остановился, отер загорелое лицо платком.

– Обождите, Артур, дружище, – сказал он, пытаясь прикрыть тревогу шутливым тоном. – У меня уж голова кругом пошла. Надо ж мне набраться храбрости. Сами знаете, не желал я идти, да и вашему семейству, смекаю, не больно я нужен.

– Ничего-ничего, – ободряюще сказал Артур. – Незачем нас бояться. Мы самые обыкновенные люди. Э, да мне письмо!

Он отошел к столу, вскрыл конверт и принялся читать, давая гостю опомниться. И гость понял и в душе поблагодарил хозяина. Был у него дар понимания, проникновения; и хотя чувствовалось, что ему сейчас отчаянно не по себе, дар этот ни на минуту не изменил ему. Он опять вытер лоб, осмотрелся, и теперь лицо уже было спокойно, только взгляд настороженный, словно у дикого зверя, когда он чует ловушку. Оказавшись в незнакомом окружении, со страхом думая, что же будет дальше, он не понимал, как себя здесь вести, ощущал, что ходит и держится неуклюже, боялся, что и каждое его движение, и сама его сила отдадут все той же неуклюжестью. Был он на редкость чуток, безмерно застенчив, и затаенная усмешка во взгляде Артура, брошенном поверх письма, резанула его как ножом. Он заметил этот взгляд, но виду не подал, ибо в ту науку, которую он превзошел, входило и умение владеть собой. Взгляд этот ранил его гордость. Он клял себя за то, что пришел, и, однако, решил, что, уж раз пришел, будь что будет, отступать он не намерен. Лицо стало жестче, глаза сверкнули воинственно. Все примечая, он спокойнее огляделся по сторонам, и в мозгу отпечатались каждая мелочь красивого убранства этой комнаты. Ничто не ускользнуло от его зоркого взгляда, широко раскрытые глаза вбирали окружающую красоту, и воинственный блеск в них уступал место теплоте сиянию. Он всегда чутко отзывался на красоту, а тут было на что отозваться.

Его внимание приковала картина, писанная маслом. Могучий прибой с грохотом разбивается о выступ скалы, мрачные грозовые тучи затянули небо, а вдаль, за линией прибоя, на фоне грозового закатного неба – лоцманский бот в крутом повороте, он накренился, так что видна каждая мелочь на палубе. Была здесь красота, и она влекла neodолимо. Парень позабыл о своей неуклюжей походке, подошел ближе, совсем близко. И красота исчезла. На лице его выразилось замешательство. Он смотрел во все глаза на эту, как ему теперь казалось, неряшливую мазню, потом отступил на шаг. И полотно вновь ослепило красотой. «Картина с фокусом», – подумал он разочарованно, однако среди множества захлестнувших его впечатлений кольнула досада: такую красоту принесли в жертву фокусу. Живопись была ему неведома. Прежде он только и видел *олеографии* да *литографии*, а они всегда четки и определены, стоишь ли рядом или смотришь издали. Правда, в витринах магазинов он видел и картины, писанные маслом, но стекло не давало всмотреться в них поближе.

Олеография – многокрасочная литография, воспроизводящая тона и фактуру живописной работы, выполненной маслом; широко распространенный во второй половине XIX века способ репродукции живописных изображений.

Литография – типографский оттиск, полученный с помощью одноименной печатной техники, при которой краска под давлением

переносится с плоской печатной формы (специального литографского камня) на бумагу. Открытая в конце XVIII века немцем Иоганном Алоизом Зенефельдером (1771–1834), техника литографии быстро приобрела популярность и вплоть до начала XX века широко использовалась для репродукции произведений графики и живописи.

Он оглянулся на приятеля, читающего письмо, и увидел на столе книги. В глазах тотчас вспыхнула тоскливая зависть и жадность, точно у голодного при виде пищи. Враскачку он двинулся к столу и вот уже любовно перебирает книги. Скользит глазами по названиям, по именам авторов, выхватывает обрывки текста, – ласкает том за томом и руками, и взглядом, – но лишь одну книгу он когда-то читал. Остальные книги и писатели незнакомы. Ему попался том *Свинберна*, и он начал читать подряд, стихотворение за стихотворением, и забыл, где он, и щеки у него разгорелись. Дважды он закрывал книгу и, придерживая страницу пальцем, еще раз смотрел имя автора. Свинберн! Надо запомнить. У этого малого глаза на месте, он все видел как надо – и цвет, и сверкающий свет. Кто же такой этот Свинберн? Давным-давно помер, как почти все поэты? Или еще живой, пишет? Он поглядел на титульный лист. Да, у Свинберна есть и другие книги. Что ж, утром первым делом надо сходить в библиотеку, разжиться его книжками. Парень опять погрузился в чтение и забыл обо всем на свете. Он не заметил, что в комнату вошла молодая женщина. Опомнился, лишь услышав слова Артура:

– *Руфь, это мистер Иден.*

Алджернон Чарльз Свинберн (1837–1909) – виднейший английский поэт Викторианской эпохи, чьи произведения отличаются оригинальностью вымысла, жанровое многообразие и богатство строфических форм.

У большинства центральных персонажей романа есть реальные прототипы. Так, в образе Мартина Идена легко узнаются черты личности и повороты биографии самого Джека Лондона; под именем Руфи Морз в романе выведена дочь британского горного инженера Эдварда Эпплгарта-старшего, возлюбленная Лондона Мэйбл Мод Эпплгарт (1873–1915), в пору их знакомства (состоявшегося, по-видимому, в 1895 г.) – студентка Калифорнийского университета в Беркли; прототип Артура – ее брат Эдвард (1876–1964).

Он закрыл книгу, заложил указательным пальцем и, еще прежде чем обернулся, ощутил радостное волнение – не от знакомства с девушкой, но от слов ее брата. В этом мускулистом парне таилась безмерно ранимая чуткость. Стоило внешнему миру задеть какую-то струну в его сознании – и все мысли, представления, чувства тотчас вспыхнут, заплещут, точно трепетное пламя. Был он на редкость восприимчив и отзывчив, а живое воображение не знало покоя в беспрестанном поиске подобий и различий. «Мистер Иден» – вот что радостно поразило его, ведь всю жизнь его звали Иден. Мартин Иден или просто Мартин. И вдруг «мистер»! Это кое-что да значит, отметил он про себя. Память мигом обратилась в громадную камеру-обскуру, и перед его внутренним взором заскользили нескончаемой вереницей картины пережитого – кочегарки и кубрики, стоянки и причалы, тюрьмы и кабаки, тифозные бараки и трущобы, и одновременно раскручивалась нить воспоминаний – как называли его при всех этих поворотах судьбы.

А потом он обернулся и увидел девушку. И вихрь призрачных картин растаял. Он увидел бледное воздушное создание с облаком золотистых волос и одухотворенным взглядом огромных голубых глаз. Он не заметил, что на ней надето, знал только, что одежда была такая же поразительная, как она сама. Хрупкий золотистый цветок на тоненьком стебле. Нет, дух, божество, богиня – земля не могла породить такую возвышенную красоту. Или, выходит, книги не врут и в высших сферах и впрямь много таких, как она. Ее вполне мог бы воспеть этот

малый Свинберн. Видать, когда писал про ту деву, *Изольду*² из книжки со стола, какая-нибудь такая и была у него на уме. Все это он увидел, почувствовал, подумал в одно мгновение. А меж тем все шло своим чередом. Девушка протянула руку и, прямо глядя ему в глаза, просто, будто мужчина, обменялась с ним рукопожатием. Женщины, каких он до сих пор встречал, жмут руку по-другому. Да по правде сказать, мало кто из них здороваётся за руку. Поток воспоминаний, картин – как он знакомился с женщинами – хлынул, грозя его захлестнуть. Но он отмахнулся от них и смотрел на девушку. Отродясь такой не видал. Ему знакомы совсем другие женщины! И тотчас подле Руфи, по обе стороны, выстроились женщины, которых он знал. Бесконечно долгое мгновение стоял он посреди какой-то портретной галереи, где царила она, а вокруг расположилось множество женщин, и всех надо было окинуть беглым взглядом и оценить, и непреложной мерой была она. Вот вялые нездоровые лица фабричных работниц и бойкие, ухмыляющиеся девчонки из кварталов к югу от Маркет-стрит. Скотницы с ферм и смуглые мексиканки с неизменной сигаретой в углу рта. Их вытеснили японки с кукольными личиками, жеманно переступающие ножками в туфельках на деревянной подошве; евразийки с нежными лицами, отмеченными печатью вырождения; пышнотелые, темнокожие, увенчанные цветами женщины *Южных морей*. А потом всех заслонила нелепая чудовищная толпа – неряхи и распустехи, слоняющиеся на панелях *Уайтчепеля*, опухшие от джина ведьмы из гнусных притонов и все непристойные, сквернословящие исчадия ада, гарпии в ужасающем женском обличье, которые охотятся на матросов, портовая грязь и нечисть, распоследние отребья и отбросы человечества.

Южные моря – первоначальное и долго сохранявшееся в топонимическом и морском обиходе название части Тихого океана, лежащей к югу от экватора.

Уайтчепель – исторический район в Ист-Энде (восточной части Лондона), в Викторианскую эпоху – место жительства городской бедноты и изгоев общества, где процветали уличная преступность и проституция.

– Присядьте, мистер Иден, – говорила меж тем девушка. – Я давно хотела с вами познакомиться, с тех самых пор, как Артур нам рассказал. Вы поступили так мужественно...

Он протестующе махнул рукой, пробормотал, мол, чего он такого особенного сделал, всяк на его месте поступил бы так же. Она заметила, что рука, которой он махнул, покрыта свежими подживающими ссадинами, взглянула на другую, опущенную руку – то же самое. Кинула и еще быстрый оценивающий взгляд, заметила на щеке шрам, другой виднеется из-под волос на лбу, и еще один уходит под крахмальный воротничок. Она подавила улыбку, заметив красную полосу на бронзовой шее – натерло воротничком. Не привык, видно, к жестким воротничкам. Своим женским глазом увидела она и его костюм – дешевый, неизящный крой, на плечах морщит и на рукавах тоже – выпирают бицепсы.

Отмахиваясь и бормоча, мол, ничего такого он не сделал, он подчинился ей, решил, надо где-то сесть. Успел восхититься непринужденностью, с какой села она, и направился к креслу напротив, подавленный сознанием собственной неуклюжести. Ощущение это было ему внове. Всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, он и знать не знал, ловкий он или неуклюжий. Ни о чем таком он никогда не задумывался. Он опасливо сел на краешек кресла, мучительно гадая, куда девать руки. Как ни положи, всё они не на месте. Артур пошел к двери, и Мартин Иден проводил его тоскующими глазами. Один на один в комнате с этим бледным неземным созданием он совсем растерялся. Ни тебе бармена – заказать выпивку, ни какого-ни то мальчонки – послать за угол за банкой пива, и таким вот приятным образом свести знакомство.

² Изольда – героиня большой эпической поэмы Свинберна «Тристрам из Лайонесса» (1869–1882, опубликована в 1882), написанной на сюжет знаменитой средневековой кельтской легенды о трагической любви Изольды, жены короля Корнуолла, и королевского племянника Тристана.

– У вас шрам на шее, мистер Иден, – заговорила девушка. – Как это случилось? Наверно, вы пережили какое-нибудь приключение.

– Один мексиканец полоснул, – ответил он, облизнул запекшиеся губы и прокашлялся. – Драка у нас была. Нож-то я у его выдернул, а он чуть не откусил мне нос.

Сказал он скупое, а перед глазами возникло красочное видение – знойная звездная ночь в Салина-Крус³, белая полоса песчаного берега, огни грузовых пароходов в гавани, приглушенные расстоянием голоса пьяных матросов, толпящиеся портовые грузчики, разъяренное лицо мексиканца, звериный блеск глаз при свете звезд, и сталь вбивается в шею, фонтан крови. Толпа, крики, два сцепившихся в схватке тела, его и мексиканца, перекатываются опять и опять, взрывают песок, а откуда-то издали томный звон гитары. Все это встало перед глазами, и трепет воспоминания охватил его – интересно, как бы все это получилось у того парня, который нарисовал шхуну там на стене. Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов – вот бы здорово, а в середине, на песке, темная гурьба зевак вокруг дерущихся. И чтоб нож как следует виден, блестит в свете звезд. Но всего этого было не угадать по его скудным словам.

– Мексиканец чуть не откусил мне нос, – только и сказал он в заключение.

– О-о-о! – выдохнула она чуть слышно, будто издалека, и по ее чуткому личику он понял, что это не по ней.

Тут и его опалило жаром, сквозь загар на щеках слегка проступила краска смущения, ему же показалось, будто щеки жжет, как перед открытой топкой в кочегарке. Видать, не положено говорить с порядочной девушкой об эдаких подлостях, о поножовщине. В книгах люди вроде нее про такое не говорят, а может, ничего такого и не знают.

Оба молчали, разговор, едва начавшись, чуть не оборвался. Потом она сделала еще одну попытку, спросила про шрам на щеке. И еще не договорила, а он уже сообразил, что она старается говорить на понятном ему языке, и положил, наоборот, разговаривать на языке, понятном ей.

– Случай такой вышел, – сказал он, потрогав щеку. – Ночью дело было, вдруг заштормило, сорвало топенант грота-гика, потом тали, гик проволочный, хлещет по чему попало, извивается, будто змея. Вся вахта старается изловить, я кинулся, ну и схлопотал.

Гик – горизонтальное или слегка наклонное рангоутное дерево, шарнирно прикрепленное одним концом (пяткой) к нижней части мачты и служащее для растягивания нижней кромки косого паруса; грота-гик – гик грота (одного из парусов на грот-мачте); топенант – снасть бегучего такелажа, проведенная через блок на вершущке мачты и привязанная к внешнему концу гика, чтобы он не упал на палубу при убранном парусе.

Таль – подвесное грузоподъемное устройство, состоит из двух блоков – подвижного и неподвижного блоков – и проходящего через их шкивы троса, один конец которого (коренной) закрепляется у одного из блоков, а другой (ходовой конец, или лопарь) тянут для подъема груза.

– О-о-о! – произнесла она на сей раз так, будто все поняла, хотя на самом деле это была для нее китайская грамота, и она представления не имела ни что такое «топенант», ни что такое «схлопотал».

– Этот парень, Свинберн, – начал он, желая переменить разговор, как задумал, но коверкая имя.

– Кто?

– Свинберн, – повторил он с той же ошибкой. – Поэт.

– Суинберн, – поправила Руфь.

³ Салина-Крус – портовый город на юге тихоокеанского побережья Мексики, в штате Оахака.

– Вот-вот, он самый, – пробормотал Мартин, вновь залившись краской. – Он давно умер?
– Да разве он умер? Я не слыхала. – Она посмотрела на него с любопытством. – Где ж вы с ним познакомились?

– В глаза его не видал, – был ответ. – Прочитал вот его стихи из той книжки на столе, перед тем как вам войти. А вам его стихи нравятся?

И она подхватила эту тему, заговорила быстро, непринужденно. Ему полегчало, он сел поудобнее, только сжал ручки кресла, словно оно могло взбрыкнуть и сбросить его на пол. Он сумел направить разговор на то, что ей близко, и она говорила и говорила, а он слушал, стараясь уловить ход ее мысли и дивился, сколько всякой премудрости уместилось в этой хорошенькой головке, и упивался нежной прелестью ее лица. Что ж, мысль ее он улавливал, только брала досада на незнакомые слова, они так легко слетали с ее губ, и на непонятные критические замечания и рассуждения, зато все это подхлестывало его, давало пищу уму. Вот она, умственная жизнь, вот она, красота, теплая, удивительная, такое ему и не снилось. Он совсем забылся, жадно пожирал ее глазами. Вот оно, ради чего стоит жить, бороться, завоевать... эх, да и умереть. Книжки не врут. Есть на свете такие женщины. И она такая. Он воспарил на крыльях воображения, и огромные сияющие полотна раскинулись перед его мысленным взором, и на них возникали смутные гигантские образы – любовь, романтика, героические деяния во имя Женщины – во имя вот этой хрупкой женщины, этого золотого цветка. И сквозь зыбкое трепещущее видение, словно сквозь сказочный мираж, он жадно глядел на женщину во плоти, что сидела перед ним и говорила о литературе, об искусстве. Он и слушал тоже, но глядел жадно, не сознавая, что пожирает ее глазами, что в его неотступном взгляде пылает само его мужское естество. Но она, истая женщина, хоть и совсем мало знающая о мире мужчин, остро ощущала этот обжигающий взгляд. Никогда еще мужчины не смотрели на нее так, и она смутилась. Она запнулась, запуталась в словах. Нить рассуждений ускользнула от нее. Он пугал ее, и, однако, оказалось до странности приятно, что на тебя так смотрят. Воспитание предостерегало ее об опасности, о дурном, коварном, таинственном соблазне; инстинкты же ее победно звенели, понуждая перескочить через разделяющий их кастовый барьер и завоевать этого путника из иного мира, этого неотесанного парня с ободранными руками и красной полосой на шее от непривычки носить воротнички, а ведь он явно запачкан, запятнан грубой жизнью. Руфь была чиста, и чистота противилась ему; но притом она была женщина и тут-то начала постигать противоречивость женской натуры.

– Да, так вот... да, о чем же я? – она оборвала на полуслове и тотчас весело рассмеялась над своей забывчивостью.

– Вы говорили, этому... Суинберну не удалось стать великим поэтом, потому как... а дальше не досказали, мисс, – напомнил он, и вдруг внутри засосало вроде как от голода, а едва он услышал, как она смеется, по спине вверх и вниз поползли восхитительные мурашки. Будто серебро, подумал он, будто серебряные колокольца зазвенели; и вмиг, на один лишь миг перенесло в далекую-далекую землю, под розовое облачко цветущей вишни, он курил сигарету и слушал колокольца островерхой пагоды⁴, зовущие на молитву обутых в соломенные сандалии верующих.

– Да... благодарю вас, – сказала Руфь. – Суинберн потерпел неудачу потому, что ему все же не хватает... тонкости. Многие его стихи не следовало бы читать. У истинно великих поэтов в каждой строке прекрасная правда и каждая обращена ко всему возвышенному и благородному в человеке. У великих поэтов ни одной строки нельзя опустить, каждая обогащает мир.

– А по мне, здорово это, что я прочел, – неуверенно сказал Мартин, – прочел-то я, правда, немного. Я и не знал, какой он... подлюга. Видать, это в других его книжках вылезит.

⁴ Пагода – буддистский храм.

– И в этой книге, которую вы читали, многие строки вполне можно опустить, – строго, наставительно сказала Руфь.

– Видать, не попались они мне, – объяснил Мартин. – Я чего прочел, стихи что надо. Прямо светится да сверкает, у меня аж все засветилось в нутре, вроде солнце зажглось, не то прожектор. Зацепил он меня, хотя, понятно, я в стихах не больно смыслю, мисс.

Он запнулся, неловко замолчал. Он был смущен, мучительно сознавал, что не умеет высказать свою мысль. В прочитанном он почувствовал огромность жизни, жар ее и свет, но как передать это словами? Не смог он выразить свои чувства – и представился себе матросом, что оказался темной ночью на чужом корабле и никак не разберется ошупью в незнакомом такелаже. Ладно, решил он, все в его руках, надо будет освоиться с этим новым окружением. Не случилось еще такого, чтоб он с чем-то не совладал, была бы охота, а теперь самое время захотеть выучиться говорить про то, что у него внутри, да так, чтоб она поняла. В мыслях его Руфь заслонила полмира.

– А вот Лонгфелло...⁵ – говорила она.

– Ага, этого я читал, – перебил он, спеша выставить в лучшем виде свой скромный запас знаний о книгах, желая дать понять, что и он не вовсе темный, – «Псалом жизни»⁶, «Эксцельсиор» и... все вроде.

Она кивнула и улыбнулась, и он как-то ощутил, что улыбнулась она снисходительно... жалостливо-снисходительно. Дурак он, чего полез хвастать ученостью. У этого Лонгфелло, скорей всего, книжек пруд пруди.

– Прошу прощения, мисс, зря я встрял. Сдается мне, я тут мало чего смыслю. Не по моей это части. А только добьюсь я, будет по моей части.

Прозвучало это угрожающе. В голосе слышалась непреклонность, глаза сверкали, лицо стало жестче, Руфи показалось, у него выпятился подбородок, придавая всему облику что-то неприятно вызывающее. Но при этом ее словно обдало хлынувшей от него волною мужественности.

– Я думаю, вы добьетесь, это будет по... по вашей части, – со смехом закончила она. – Вы такой сильный.

Ее взгляд на миг задержался на его мускулистой шее, бронзовой от загара, с грубыми жилами, прямо бычьей, здоровье и сила переливались в нем через край. И хотя он смущенно краснел и робел, ее снова потянуло к нему. Нескромная мысль внезапно поразила ее. Если коснуться этой шеи руками, можно впитать всю его силу и мощь. Мысль эта возмутила девушку. Будто вдруг обнаружилась неведомая ей дотоле порочность ее натуры. К тому же физическая сила в ее глазах – нечто грубое, вульгарное. Идеалом мужской красоты для нее всегда была изящная стройность. И однако мысль оказалась упорной. Откуда оно, желание обхватить руками загорелую шею гостя, недоумевала она. А суть в том, что сама она была отнюдь не крепкая, и тело ее, и душа тянулись к силе. Но она этого не знала. Знала только, что ни разу в жизни ни один мужчина никогда не волновал ее так, как этот, который то и дело возмущал ее своей чудовищно безграмотной речью.

– Верно, я не хилый, – сказал он. – Меня с копыт не сковырнешь, я и гвозди жевать могу. А вот сейчас никак не переварю, чего вы говорите. Не по зубам мне. Не учили меня этому. Книжки я люблю, и стихи тоже, и читаю всякую свободную минутку, а только по-вашему отродясь про них не думал. Потому и толковать про них не умею. Я вроде как штурман – занесло невесть куда, а ни карты, ни компаса нету. Надо мне сориентироваться. Может, укажете, куда держать путь? Вы-то откуда узнали все это, про что рассказывали?

– В школе, вероятно, и вообще училась, – ответила она.

⁵ Генри Уодсворт Лонгфелло (1807–1882) – американский поэт и переводчик.

⁶ «Псалом жизни» (1838), «Эксцельсиор» (1841, опубликован 1842) – знаменитые стихотворения Лонгфелло.

– Несмышленишем и я в школу ходил, – возразил было Мартин.

– Да, но я имею в виду среднюю школу, и лекции, и университет.

– В университете учились? – откровенно изумился он.

Теперь она стала еще недостижимей, ее отнесло по крайней мере еще на миллион миль.

– И сейчас учусь. Слушаю специальный курс английской филологии.

Что такое «английская филология», он не знал, по думал, и тут он невежда, и принялся спрашивать дальше:

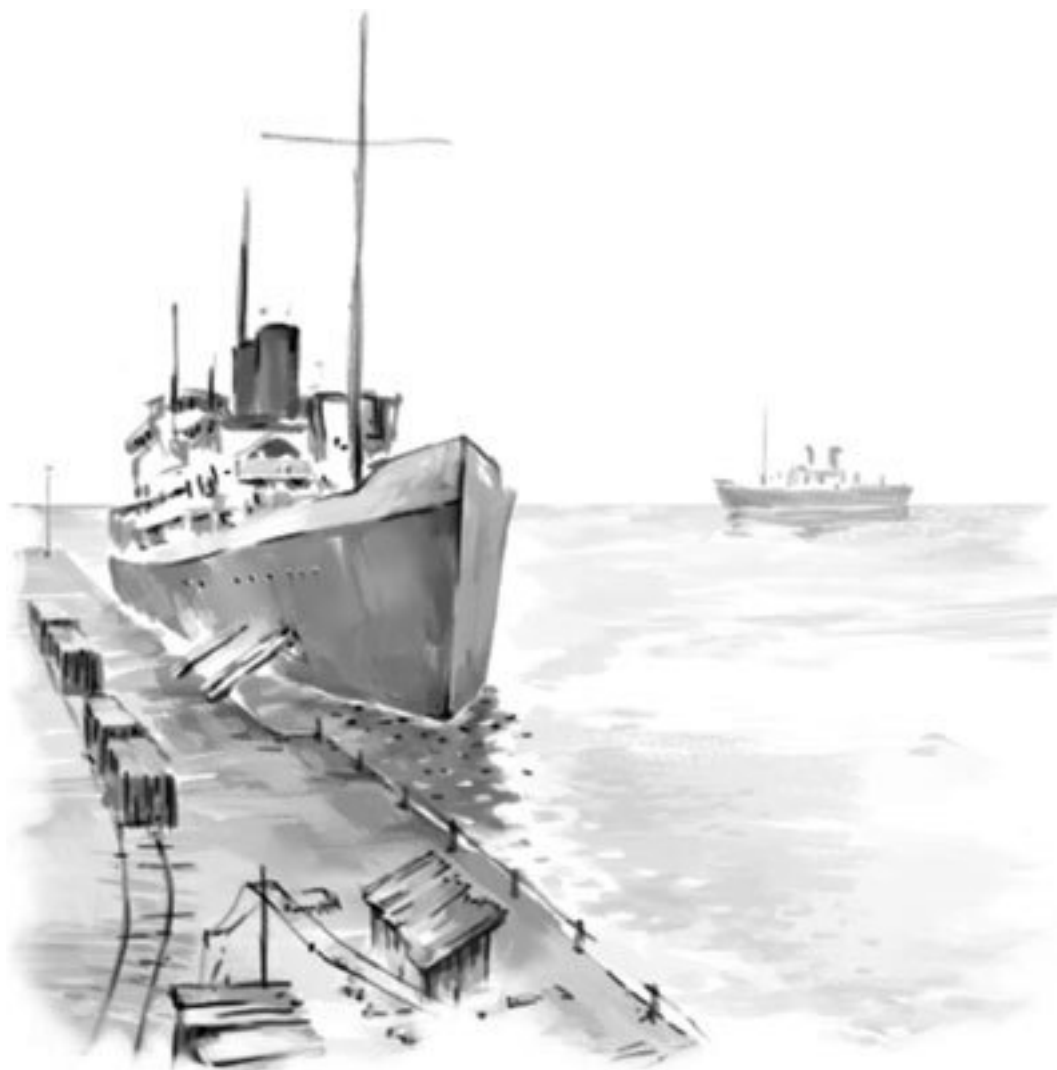
– Стало быть, сколько мне надо учиться, чтоб дойти до университета?

Она улыбнулась, одобряя такую тягу к знаниям.

– Это зависит от того, сколько вы учились до сих пор, – сказала она. – В старшие классы вы не ходили? Нет, конечно. Ну а восемь классов кончили?

– Нет, в седьмой уже не пошел, – ответил он. – Но из класса в класс переходил с отличием.

И тут же обозлился на себя за похвальбу и так яростно вцепился в ручку кресла, даже кончикам пальцев стало больно. И в эту минуту в дверях появилась какая-то женщина. Девушка встала и стремительно пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обняв друг друга за талию, направились к нему. Мамаша, видать, подумал он. Была она высокая, светловолосая, стройная, осанистая и лицом красивая. Платье как раз под стать дому. Глаз радуется, такое оно складное да нарядное. И сама, и платье – прямо как на сцене. А потом он вспомнил, сколько раз стоял и глазел, как входят в лондонские театры такие вот важные разряженные дамы, и сколько раз полицейские выталкивали его из крытой галереи на морозящий дождь. И сразу же воспоминания перенесли к Гранд-отелю в *Иокогаме*, там с обочины тротуара он тоже видал таких важных дам. Теперь перед глазами замелькали бесчисленные картины самого города Иокогамы и тамошней гавани. Но угнетенный тем, что ему сейчас предстояло, он постепенно погасил калейдоскоп памяти. Он знал, надо встать, тогда тебя познакомят, и неловко поднялся с кресла, и вот он стоит – брюки на коленях пузыряются, руки нелепо повисли, лицо напряглось в ожидании неизбежной пытки.



Иокогама (Йокохама) – крупнейший портовый город Японии, на острове Хонсю, в 30 км от Токио. Дж. Лондон провел в Иокогаме две недели в 1893 г., во время своего первого «большого» плавания – к берегам Курильских и Командорских островов (см. ниже примеч. к с. 80), однако города фактически не увидел: его впечатления о Японии, по его собственным словам, «ограничились портовыми кабаками». Второй раз он побывал в Иокогаме в 1904 г. в качестве военного корреспондента, отправившись по заданию газетного синдиката У. Р. Хёрста на фронт Русско-японской войны.



Глава 2

До столовой он добирался точно в страшном сне. Останавливался, спотыкался, его шатало, кидало из стороны в сторону, казалось, ему вовек не дойти. Но наконец он все-таки вступил в столовую, и его посадили подле Нее. Его испугала целая выставка ножей и вилок. Они оцетинились, предвещая неведомые опасности, и он заворожено уставился на них, пока на их слепящем фоне не двинулись чередой новые картины матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, раздирая ее складными ножами и руками, или выдавшими виды оловянными ложками черпали из жестяных мисок густой гороховый суп. В ноздри била вонь от тухлого мяса, в ушах отдавалось громкое чавканье едоков, и чавканью вторил треск обшивки и жалобный скрип переборок. Он смотрел, как едят матросы, и решил, что едят они, как свиньи. Да, здесь надо поосторожней. Чавкать он не будет. Надо быть начеку.

Он обвел глазами стол. Напротив сидели Артур с братом Норманом. Ее братья, напомнил он себе, и они сразу показались ему славными ребятами. Как любят друг друга в этой семье! Ему вновь представилась встреча Руфи с матерью – вот они поцеловались, вот идут к нему, обнявшись. В его мире таких нежностей между родителями и детьми не увидишь. Ему открылось, каких жизненных высот достиг мир, стоящий выше того, где обретается он. Это самое прекрасное из того немногого, что уловил здесь его беглый взгляд. Он был глубоко тронут, и нежность, рожденная пониманием, смягчила сердце. Всю свою жизнь он жаждал любви. Любви требовало все его существо. Так уж он был устроен. И однако жил без любви и малопомалу ожесточался. И даже не знал, что нуждается в ней. Не знал и теперь. Лишь увидел ее воочию, и откликнулся на нее, и по думал, как это прекрасно, возвышенно, замечательно.

Он радовался, что здесь нет мистера Морза. Ему и так нелегко знакомиться с этим семейством – с ней, с ее матерью, с братом Норманом. Артура он уже кое-как знал. А знакомиться еще с отцом – это уж было бы слишком. Казалось, никогда еще он так тяжело не работал. Рядом с этим самый каторжный труд – просто детская игра. На лбу проступила испарина, рубашка взмокла от пота – таких усилий требовал весь этот незнакомый обиход. Приходилось делать все сразу: есть непривычным манером, управляться с какими-то хитроумными предметами, поглядывать исподтишка по сторонам, чтобы узнать, как с чем обращаться, впитывать все новые и новые впечатления, мысленно оценивать их и сортировать, и притом он ощущал властную тягу к этой девушке, тяга становилась неясным, мучительным беспокойством. Жгло желание стать вровень с нею в обществе, и опять и опять сверлила мысль, каким бы способом ее завоевать, и возникали в сознании смутные планы. А еще, когда он украдкой взглядывал на сидящего напротив Нормана или на кого-нибудь другого, проверяя, каким ножом или вилок надо сейчас орудовать, черты каждого запечатлевались в мозгу, и невольно он старался разобраться в них, угадать – что они для нее. Да еще надо было что-то говорить, слушать, что говорят ему и о чем перебрасываются словами остальные, и, когда требовалось, отвечать да следить, как бы с языка по привычке не слетело что-нибудь неприличное. Он и так в замешательстве, а тут в придачу еще лакей, непрестанная угроза, *зловещим сфинксом бесищно вырастает за спиной, то и дело загадывает загадки и головоломки* и требует немедленного ответа. С самого начала трапезы Мартина угнетала мысль о чашах для ополаскивания пальцев. Ни с того ни с сего он поминутно спохватывался, когда же их подадут и как их признать. Он слышал про такой обычай, и теперь, оказавшись за столом в этом благородном обществе, где за едой ополаскивают пальцы, он уж бесприменно, вот-вот, рано или поздно увидит эти самые чаши, и ему тоже надо будет ополоснуть пальцы. Но всего важнее было решить, как вести себя здесь, мысль эта глубоко засела в мозгу и, однако, все время всплывала на поверхность. Как держаться? Непрестанно, мучительно бился он над этой задачей. Трусливая мыслишка подсказывала при-

твориться, кого-нибудь из себя разыграть, другая, еще трусливей, остерегала – не по плечу ему притворяться, не на тот лад он скроен и только выставит себя дураком.



Отсылка к древнегреческому мифу о Сфинксе (крылатом чудовище с телом льва, лицом и грудью женщины), обитавшем на горе близ греческих Фив и убивавшем путников, которые не могли разгадать его загадку: «Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?» Разгадка, которой сумел доискаться фиванский царь Эдип, такова: это человек в разные возрасты своей жизни – ребенок, ползающий на четвереньках, полный сил зрелый человек и, наконец, старик с костылем. Раздосадованный тем, что его загадка разрешена, Сфинкс бросился вниз со скалы и погиб (по другой версии мифа, был убит Эдипом).

Он маялся этими сомнениями всю первую половину обеда и оттого был тише воды ниже травы. И не подозревал, что своей молчаливостью опровергает слова Артура: тот накануне объявил, что приведет к обеду дикаря, но им бояться нечего – дикарь презанятный. В тот час Мартин Иден нипочем бы не поверил, что брат Руфи способен на такое предательство, да еще после того, как он этого брата вызволил из довольно скверной заварушки. И он сидел за столом в смятении, что он тут не к месту, и притом зачарованный всем, что происходило вокруг. Впервые в жизни он убедился, что можно есть не только лишь бы насытиться. Он понятия не имел, что за блюда ему подавали. Пища как пища. За этим столом он насыщал свою любовь к красоте, еда здесь оказалась неким эстетическим действием. И интеллектуальным тоже. Ум его был взбудоражен. Здесь он слышал слова, значения которых не понимал, и другие, которые встречал только в книгах, – никто из его окружения, ни один мужчина, ни одна женщина,

даже произнести бы их не сумели. Он слушал, как слова эти слетают с языка у любого в этой удивительной семье – ее семье, – и его пробирала дрожь восторга. Вот оно, необыкновенное, прекрасное, полное благородной силы, про что он читал в книгах. Он был в том редком, счастливом состоянии, когда видишь, как твои мечты гордо выступают из потаенных уголков фантазии и становятся явью.



Никогда еще жизнь не возносила его так высоко, и он старался оставаться в тени, слушал, наблюдал, радовался и сдержанно, односложно отвечал: «Да, мисс» и «Нет, мисс» – ей, и «Да, мэм» и «Нет, мэм» – ее матери. Отвечая ее братьям, он обуздывал себя – по моряцкой привычке с языка готово было слететь «Да, сэр», «Нет, сэр». Так не годится, это все равно что признать, будто ты их ниже, а если хочешь ее завоевать, это нипочем нельзя. Да и гордость в нем заговорила. «Право слово, – в какую-то минуту сказал он себе, – ничуть я не хуже ихнего, ну, знают они всего видимо-невидимо, подумаешь, мог бы и я их кой-чему поучить». Но стоило ей или ее матери обратиться к нему «мистер Иден», и, позабыв свою воинственную гордость, он сиял и таял от восторга. Он культурный человек, вот так-то, он обедает за одним столом с людьми, о каких прежде только читал в книжках. Он и сам будто герой книжки, разгуливает по печатным страницам одетых в переплеты томов.

Но пока он сидел там – вовсе не дикарь, каким описал его Артур, а кроткая овечка, – он упрямо думал да гадал, как же себя повести. Был он отнюдь не кроткая овечка, и роль второй скрипки никогда не подошла бы этой благородной, сильной натуре. Говорил он, лишь когда от него этого ждали, и говорил примерно так, как шел в столовую: спотыкался, останавливался, подыскивая в своем многоязычном словаре нужные слова, взвешивая те, что явно годятся, но боязно – вдруг неправильно их произнесешь, – отвергая другие, которых здесь не поймут, или они прозвучат уж очень грубо и резко. И непрестанно угнетало сознание, что из-за этой осмот- рительности, мешающей оставаться самим собой, он выглядит олухом. Да еще вольнолюбивый нрав теснили эти жесткие рамки, как теснили шею крахмальные оковы воротничка. Притом он был уверен, что все равно сорвется. Природа одарила его могучим умом, остротой чувств, и неутомимый дух его не знал покоя. Внезапно им овладевали какой-либо замысел или настроение и в муках стремились выразиться и обрести форму, и, поглощенный ими, он забывал, где он, и с языка слетали привычные слова, те самые, из которых всегда состояла его речь.

И когда за плечом у него опять возник докучливый слуга и, прервав его раздумья, настой- чиво что-то предложил, Мартин сказал коротко, резко:

– Пау.

За столом все тотчас выжидательно насторожились, чопорный лакей злорадствовал, а Мартин едва не сторел от стыда. Но тут же нашелся. И объяснил:

– Это по-канакски⁷ «хватит», само сорвалось. Пишется: «П-а-у».

Он уловил любопытство в задумчивом взгляде Руфи, устремленном на его руки, и, войдя во вкус объяснений, сказал:

– Я только-только сошел на берег с одного тихо океанского почтового. Он опаздывал, и в портах залива *Пьюджет* мы работали, грузили как проклятые смешанный *фрахт* – вы, верно, не знаете, каково это. Оттого и шкура содрана.

⁷ Канаки – коренные народы Меланезии, проживающие на островах тихоокеанского архипелага Новая Каледония.

– Да нет, я не об этом думала, – в свою очередь поспешила объяснить Руфь. – У вас кисти кажутся не по росту маленькими.



Залив Пьюджет – тихоокеанский залив (точнее, сложная система заливов) в штате Вашингтон на северо-западе США.

Фрахт – здесь: груз, предназначенный для перевозки согласно ранее заключенному контракту.

Щеки его вспыхнули. Он решил, она обличила еще один его изъян.

– Да, – с досадой согласился он. – Слабоваты они у меня. Руки, плечи – ничего, как видно, силища бычьего. А дам кому в зубы, глядишь, и себе кулак разобью.

И сразу пожалел о сказанном. Стал сам себе противен. Распустил язык. Не к месту это, здесь так нельзя.

– Какой вы молодец, что пришли на помощь Артуру, заступились за незнакомого человека, – тактично перевела она разговор – она заметила, что он расстроен, хотя и не поняла почему.

А он понял, что она сказала это по доброте, горячая волна благодарности поднялась в нем, и опять он забыл, что надо выбирать слова.

– Чепуха! – сказал он. – Тут бы всякий за парня вступился. Эти бандюги перли на рожон, Артур-то к ним не лез. Они на него накинлись, а уж я – на них, накомтылял будь здоров. Тогда и шкуру на руках ободрал, зато зубы кой-кому повышибал. Нипочем не прошел бы мимо. Я как увижу...



В реальной жизни знакомство писателя с братом Мэйбл Энплагарт произошло, как считают биографы, при менее драматических обстоятельствах: предполагается, что их познакомил в 1895 г. приятель Лондона Фредерик Джейкобс (чья подружка Элизабет Мэддерн впоследствии стала первой женой Джека) в Дискуссионном клубе имени Генри Клея – постоянном месте встреч оклендской интеллигенции.

Он замолк с открытым ртом, едва не выдав, какая же он мерзкая тварь, едва не показав, что попросту недостойн дышать с ней одним воздухом. И пока Артур, подхватив рассказ, в двадцатый раз расписывал свою встречу с пьяными хулиганами на пароме и как Мартин Иден кинулся в драку и спас его, сам спаситель, нахмутив брови, размышлял о том, какого сейчас сваял дурака, и отчаянней прежнего бился над задачей, как же себя вести среди этих людей. Нет, у него явно ничего не получается. Он не их племени и языка их не знает, так определил он для себя. Подделываться под них он не сумеет. Маскарад не удастся, да и не по нем это – рядиться в чужие одежды. Притворство и хитрости не в его натуре. Будь что будет, а надо оставаться самим собой. Говорить на их языке он еще не умеет, но ничего, научится. Это он решил твердо. А пока, чем играть в молчанку, станет разговаривать как умеет, только малость поприличней, чтоб понимали и не больно возмущались. А еще не станет он, хотя и молча, делать вид, будто в чем смыслит, если на самом деле не смыслит. Так он порешил, и, когда братья, заговорив про университетские занятия, несколько раз произнесли слово «триг», Мартин спросил:

– А это чего такое – «триг»?

– Тригонометрия, – сказал Норман. – Высший раздел матики.

– А матика – это чего? – последовал новый вопрос, и все засмеялись – на этот раз виной тому был Норман.

– Математика... арифметика, – последовал ответ.

Мартин кивнул. Ему приоткрылись беспредельные горизонты познания. Все, что он видел, становилось для него осязаемым. При редкостной силе его воображения даже отвлеченное обретало ощутимые формы. В мозгу совершалась некая алхимия, и тригонометрия, математика, сама область знаний, которую они обозначали, обратилась в красочную картину. Мартин увидел зелень листвы и прогалины в лесу – то в мягком полумраке, то искрящиеся на солнце. Издалека очертания были смутны, затуманены сиреневой дымкой, но за сиреневой этой дымкой ждало очарование неведомого, прелесть тайного. Он словно хлебнул вина. Впереди – приключения, дело и для ума, и для рук, мир, который надо покорить; и вмиг из глубин сознания вырвалась мысль: покорить, завоевать для нее, этой воздушной, бледной, точно лилия, девушки, что сидит рядом.

Мерцающее видение было разъято на части, рассеяно Артуром, который весь вечер пытался заставить своего дикаря разговориться. Мартин Иден помнил о принятом решении. Он стал наконец самим собой, поначалу сознательно и расчетливо, но вскоре увлекся – и радостно творил, воссоздавал перед глазами слушателей ту жизнь, какую знал, какую жил сам. Вот он матрос на контрабандистской шхуне «Алкиона», перехваченной таможенным катером. Он смотрел тогда во все глаза и теперь может рассказать, что видел. И он рисует перед слушателями беспокойное море, и суда, и моряков. Он передает им свою зоркость, и все, что видел он, они увидели наконец его глазами. Как истинный художник, отбирает он самое нужное из множества подробностей и набрасывает картины жизни, пламенеющие светом и яркими красками, и наполняет их движением, захватывая слушателей потоком буйного красноречия, вдохновения, силы. Минутами их отпугивала беспощадная обнаженность его рассказа, грубоватая речь, но жестокость тотчас сменялась красотой, а трагедия смягчалась юмором, и перед ними открывались прихотливые повороты и причуды моряцкой натуры.

Он рассказывал, а Руфь не сводила с него изумленных глаз. Его жар разогревал ее. Неужели до сих пор она всегда жила в холоде, думалось ей. Хотелось прислониться к этому горящему ярким пламенем неистовому человеку, в ком, точно в вулкане, бурлили силы, энергия, здоровье. Так тянуло прислониться к нему, что она с трудом подавила в себе это желание. Но было в ней и другое желание – отшатнуться. Внушали отвращение и эти исполосованные шрамами, потемневшие от тяжелой работы руки, будто в них въелась сама грязь жизни, и красная полоса, натертая воротничком, и могучие бицепсы. Его грубость отпугивала. Каждое грубое слово оскорбляло слух, вся грубость его жизни оскорбляла душу. И все равно опять и опять к нему тянуло, и наконец подумалось: наверно, есть в нем какая-то злая сила, иначе откуда у него эта власть над ней. Все, во что она твердо верила, вдруг стало зыбким. Его необыкновенные приключения и постоянный риск сокрушали условности. Он так легко встречает опасности, так беззаботно смеется в лицо невзгодам, что кажется, жизнь вовсе не требует серьезных усилий и сдержанности, она – игрушка, которой можно забавляться, вертеть на все лады, беспечно порадоваться ей, а потом беспечно отбросить. «Так играй же! – кричало что-то в Руфи. – Прислонись к нему, раз хочется, обхвати обеими руками его шею!» Возмутительная, безрассудная мысль, но напрасно Руфь напоминала себе, что сама она воплощение чистоты и культуры и обладает всем, чего у него нет. Она огляделась и увидела, что все остальные смотрели на него точно зачарованные; Руфь пришла бы в отчаяние, не заметь она в глазах матери ужаса, смешанного с восхищением, но все-таки ужаса. Этот человек явился из тьмы и несет в себе зло. Мать понимает это, и, значит, это правда. И она доверится суждению матери, как доверялась всегда и во всем. Его огонь уже не грел, и страх перед ним не пронизывал душу.

Позднее, за фортепьяно, она играла для него, наперекор ему, играла с вызовом, смутно желая подчеркнуть, как неодолима разделяющая их пропасть. Она обрушила на него музыку, словно беспощадные удары дубиной по голове, и музыка ошеломила его, подавила, но и подхлестнула. Он смотрел на девушку с благоговением. Как и она, ощущал, что пропасть между ними ширится, но еще того быстрее в нем росло стремление преодолеть эту пропасть. Однако

слишком чуткий, слишком впечатлительный, не мог он просидеть весь вечер, уставившись в эту пропасть, да еще когда звучит музыка. Он был необычайно восприимчив к музыке. Словно алкоголь, она воспаляла его чувства, словно наркотик – подхлестывала воображение и возносила над облаками. Она изгоняла низменную прозу жизни, затопляла душу красотой, возвышала, у него вырастали крылья. Той музыки, что играла Руфь, он не понимал. Совсем по-другому барабанили по клавишам в дансингах и ревела медь духовых оркестров, а ничего иного он не слышал. Но в книгах что-то попадалось о такой вот музыке, и игру Руфи он принимал больше на веру, поначалу терпеливо ожидая певучей мелодии, ясного, простого ритма, озадаченный тем, что ритмы постоянно менялись. Вот он как будто уловил мелодию, расправил крылья воображения, а она тут же тонет в сумбуре враждующих звуков, которые ничего ему не говорят и возвращают на землю его утратившее легкость воображение.

В какую-то минуту ему подумалось, уж не хочет ли она оттолкнуть его этой музыкой. Он ощутил ее неприязнь и пытался разгадать, что же твердят ее пальцы, летая по клавишам. Потом отмахнулся от этой мысли, недостойной, невозможной, и уже свободней отдался музыке. В нем пробуждалась прежняя чудесная окрыленность. Тело стало невесомым, и весь он – дух, уже не прикованный к земле; и в нем, и вокруг разливалось ослепительное сияние; а потом все окружающее исчезло, его подхватило, и он, качаясь, взмыл над миром, над бесконечно дорогим ему миром. Перед глазами теснились несчетные яркие картины, в них смешалось знакомое и незнакомое. Он входил в неведомые гавани омытых солнцем земель, бродил по базарам меж дикарей, каких еще никто никогда не встречал. Он вдыхал ароматы пряных островов, как бывало теплыми безветренными ночами в море или длинными тропическими днями, он лавировал в полосе юго-восточных пассатов⁸ среди увенчанных пальмами коралловых островков, утопающих в бирюзовом море позади и всплывающих в бирюзовом море впереди. Картины эти возникали и исчезали, быстрые, как мысль. Вот верхом на необузданном скакуне он летит по сказочно расцвеченным пустынным просторам Аризоны; а через миг уже глядит сквозь мерцающий жар вниз, в Долину Смерти, в *гроб повапленный*, или плывет на веслах по стынущему океану, где высятся и сверкают под солнцем громады ледяных островов. Он лежит на коралловом атолле, где кокосовые пальмы подступают вплотную к воркующему прибою. Голубоватым пламенем горят останки давным-давно потерпевшего крушение корабля, и в отсветах женщины танцуют *хулу*, и раздаются варварские любовные клики певцов, поющих под звон *укулеле* и грохот тамтамов. Чувственная тропическая ночь. Вдалеке, среди звезд темнеет кратер какого-то вулкана. Над головой плывет бледный лунный серп, и низко в небе горит Южный Крест.

Гроб повапленный – то есть покрашенный гроб, библейское выражение, которое в Евангелии от Матфея (23:27) Христос использует для характеристики книжников и фарисеев как лицемеров.

Хула – гавайский народный танец, сопровождаемый ритмической музыкой и песнопением (меле).

Укулеле – гавайская четырехструнная гитара.

Мартин был точно арфа: все, что он в жизни узнал и что стало его сознанием, было струнами, а нахлынувшая на него музыка – ветром, бьющим в струны, и струны отзывались воспоминаниями и грезами. Он не просто чувствовал. Ощущения облекались в форму, цвет, сияние, а воображение, разыгрываясь, дерзко воплощало их в нечто возвышенное, волшебное. Прошлое, настоящее, будущее смешались; и Мартина несло, покачивая, по необъятному теплоту миру через доблестные приключения и благородные дела, к Ней и с Ней, да, с Ней, и он завоевывал ее и, обхватив одной рукой, влек в полет через королевство своей души.

⁸ Пассаты – ветры, постоянно дующие в близких к экватору частях океана.

И Руфь, глянув через плечо, увидела отблески этого на его лице. Лицо преобразилось, огромные глаза сияли на нем и сквозь завесу звуков созерцали трепетный пульс жизни, исполинские видения, созданные самим его духом. Она поразилась. Грубый нескладный невежа исчез. Плохо сшитое платье, руки в ссадинах, обожженное солнцем лицо остались, но казались теперь тюремной решеткой, из-за которой глядит великая душа, безмолвная, бессловесная, оттого что не умеет выразиться вслух. То было мимолетное озарение, в следующий миг Руфь опять увидела перед собой неотесанного парня и посмеялась над прихотью своей фантазии. Но что-то от этого мимолетного впечатления осталось. И когда Мартину пришла пора уходить и он стал неуклюже прощаться, она дала ему почитать том Суинберна и еще Браунинга⁹ – слушая курс английской литературы, она занималась Браунингом. Он благодарил, краснея и запинаясь, и таким казался мальчишкой, что волна жалости поднялась в ней, жалости неодолимой, поистине материнской. Она уже не помнила ни неотесанного парня, ни плененную душу, и мужчину, под чьим по-мужски жадным взглядом ей стало сладко и страшно. Сейчас перед ней был просто мальчишка. Шершавой, заскорузлой рукой он жал ей руку и говорил запинаясь:

– Самый замечательный день в жизни. Я... это... не привык я к такому... – Он беспомощно огляделся. – К таким вот людям, к домам... В новинку мне это... и нравится.

– Надеюсь, вы еще навестите нас, – говорила Руфь, пока он прощался с братьями.

Он нахлобучил кепку, смущенно, враскачку шагнул за дверь и исчез.

– Ну, что ты о нем скажешь? – тотчас спросил Артур.

– Необыкновенно интересен... Будто свежим ветром подуло, – ответила она. – Сколько ему лет?

– Двадцать... почти двадцать один. Я его сегодня спрашивал. Мне-то казалось, он много старше.

«А я на три года старше», – думала она, целуя братьев и желая им спокойной ночи.

⁹ Роберт Браунинг (1812–1889) – английский поэт-романтик.



Глава 3

Мартин Иден спускался по ступеням, а рука сама сунулась в карман пиджака. Вынырнула с коричневой рисовой бумагой и щепоткой мексиканского табаку, искусно свернула сигарку. Он глубоко затянулся и медленно, неспешно выдохнул клуб дыма.

– Черт побери! – громко сказал он с благоговейным изумлением. – Черт побери! – повторил он. И еще раз пробормотал: – Черт побери!

Потом рука потянулась к воротничку, он сорвал его и сунул в карман. Моросил холодный дождик, а Мартин обнажил голову, расстегнул жилет и зашагал враскачку как ни в чем не бывало. Он едва замечал, что дождит. Восторженно грезил наяву, перебирал в мыслях все только что пережитое.

Наконец-то он встретил Женщину – он нечасто думал об этом прежде, не склонен он был думать о женщинах, но такую ждал и смутно надеялся рано или поздно встретить. Сидел с ней рядом за столом. Жал ей руку, глядел ей в глаза и на миг увидал в них прекрасную душу... но нет, не прекраснее глаз, в которых светилась душа, не прекраснее плоти, в которую душа облечена. О плоти он не думал, и это для него было внове, ведь женщины, которых он знал прежде, вызывали в нем только плотские желания. А вот о ее плоти почему-то так не думалось. Словно тело ее не такое, как у всех, – бренное, подвластное недугам. Нет, оно не просто оболочка души. Оно – порождение души, чистое и благодатное воплощение ее божественной сути. Ощущение божественности ошеломило его. Спугнуло мечты и отрезвило его. Никогда прежде не воспринимал он ни слов, ни указаний, ни намеков на божественное. Никогда он в божественное не верил. Он всегда был неверующим, всегда добродушно подсмеивался над судовыми священниками и их разговорами о бессмертии души. За гробом жизни нет, возражал он, живешь здесь, сегодня, а потом – вечная тьма. Но вот в глазах девушки он увидел душу, бессмертную душу, которая не может умереть. Никогда еще никто, ни мужчина, ни женщина, не заставил его задуматься о бессмертии. Только она пробудила эту мысль в первый же миг, первым взглядом. И вот он идет, и перед глазами чуть светится ее лицо, бледное и серьезное, милое и чуткое, улыбается милосердно и нежно, как способна улыбаться лишь фея, и такой оно сияет чистотой, какую он и вообразить не мог. Чистота эта сразила его, точно удар. И испугала. Он знал и добро и зло, но даже не подозревал, что жизни может быть присуща чистота. А теперь, в ней, он постиг чистоту как высшее воплощение доброты и непорочности, которые вместе и составляют жизнь вечную.

И тотчас возникло честолюбивое желание тоже достичь вечной жизни. Он и воды-то этой девушке поднести недостойн, это уж точно; неслыханная удача, сказочное везенье позволили ему увидеть ее в этот вечер, сидеть рядом, говорить с нею. Все вышло случайно. Нет здесь его заслуги. Недостойн он такого счастья. Он готов молиться на нее. Теперь он смиренный, кроткий, полон самоуничижения и сознает собственное ничтожество. С таким настроением идут исповедоваться грешники. Конечно, он грешен. И как у смиренных и униженных в час покаяния нет-нет да и мелькнет перед глазами блистательная картина их будущего торжества, так и ему приоткрывалось будущее, которого он достигнет, завладев ею. Но что это значит – владеть ею, представлялось туманно, совсем не похоже на то, что он прежде понимал под обладанием. Он возносился на крыльях сумасбродного честолюбия, и вот он уже вместе с ней достигает невообразимых высот, делит с ней мысли, упивается всем, что есть прекрасного и благородного. Ее душой – вот чем он хотел завладеть, стремился к обладанию, очищенному от всего низменного, к свободному единению душ, но додумать это не умел. Не было у него таких мыслей. В сущности, он сейчас вовсе не думал. Чувство возобладало над разумом, и, весь дрожа, трепеща от неведомых донныне ощущений, он блаженно плыл по морю чувствований,

где само чувство, восторженное и одухотворенное, возносилось над высочайшими вершинами жизни.

Он шел шатаясь, точно пьяный, и лихорадочно бормотал:

– Черт подери! Черт подери!

Полицейский на углу с подозрением уставился на него, потом распознал моряцкую походку.

– Где набрался-то? – резко спросил он.

Мартин Иден спустился с небес на землю. Натура у него была подвижная, он быстро ко всему приспосабливался, легко перевоплощался, смотря по обстоятельствам. Услышав окрик полицейского, мгновенно очнулся, стал самым обыкновенным матросом.

– Вот ловко! – со смехом отозвался он. – Вслух говорю, а самому невдомек.

– Еще немного, и запоешь, – определил полицейский.

– Не, нипочем. Дайте-ка огоньку, сяду сейчас на трамвай и домой.

Он закурил, попрощался и пошел своей дорогой.

– Надо же! – тихонько воскликнул он. – Этот обалдуй решил, что я пьяный. – Он улыбнулся про себя и задумался. – И верно, пьяный я, – прибавил он. – Вот не думал, чтоб поглядеть на женское лицо и такое с тобой сделается.

На Телеграф-авеню он сел на трамвай, идущий в *Беркли*. В вагоне полно было юнцов и молодых людей, они распевали песни, а время от времени хором что-нибудь выкрикивали. Мартин Иден с любопытством их разглядывал. Студенты университета. Учатся вместе с ней, из того же общества, может, и знакомы с ней, могли бы каждый день с ней видаться, только захоти. А надо же, не хотят, вот ездили куда-то развлекаться, чем бы провести этот вечер с ней, разговаривать с ней, сидеть вокруг нее, и восхищаться, и обожать. Мысль перекинулась на другое. Он приметил одного из толпы – глазки-щелочки, отвислая губа. Дрянный малый, сразу видать. На корабле стал бы трусом, слюнтяем-доносчиком. Нет, он, Мартин Иден, куда как лучше. При этой мысли он повеселел. Будто стал ближе к Ней. И начал сравнивать себя с этими студентами. Ощутил свое сильное мускулистое тело – да, он наверняка покрепче будет. А вот головы ихние набиты знаниями, и они могут разговаривать с ней на ее языке. Мысль эта привела его в уныние. Но мозги-то у нас на что? – внутренне воскликнул он. Чего они смогли, то и он сможет. Узнавали про жизнь по книгам, а он-то жил всю по-настоящему. Он тоже много чего знает, только совсем про другое. Есть ли среди них такие, кто умеет вязать узлы, стоять за штурвалом, на вахте? Жизнь его развернулась перед ним вереницей картин – опасности, риск, лишения, тяжкий труд. Он припомнил свои неудачи, передраги, в какие попадал, пока набирался ума-разума. Уж в этом он их превзошел. Рано или поздно им тоже придется зажить подлинной жизнью и хватить лиха. Очень хорошо. Покуда они будут проходить эту науку, он сможет изучать другую сторону жизни по книгам.



Беркли – город на восточном берегу залива Сан-Франциско, в округе Аламида штата Калифорния. С расположенным неподалеку городом Окленд, где прошли детство и юность Дж. Лондона, его связывает 7-километровая улица Телеграф-авеню.

Трамвай пересекал местность, отделявшую Окленд от Беркли, дома здесь были редки, и Мартин глядел в оба, чтоб не прозевать знакомый двухэтажный домик с самодовольной вывеской «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет». На углу Мартин Иден сошел. Задержался взглядом на вывеске. Она говорила ему больше, чем сами слова. Буквы и те выдавали самовлюбленное ничтожество, душонку, склонную к мелким подлостям. Бернард Хиггинботем был женат на сестре Мартина, и Мартин Иден хорошо его изучил. Он отпер дверь своим ключом и поднялся на второй этаж. Здесь обитал его зять. Бакалейная лавка помещалась внизу. В воздухе стоял запах гниющих овощей. Ощупью пробираясь по коридору, Мартин споткнулся об игрушечную коляску, брошенную кем-то из его многочисленных племянников и племянниц, и с грохотом стукнулся о дверь. «Скряга! – пронеслась мысль. – Скаредничает, грошовую лампочку не зажжет, а квартирантам недолго и шею сломать».

Он нашарил дверную ручку и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Хиггинботем. Она латала мужнины брюки, а он, тощий, длинный, развалился на двух стульях, – со второго свешивались ноги в поношенных домашних туфлях. Оторвавшись от газеты, он взглянул поверх нее на вошедшего темными лживыми колючими глазами. При виде зятя в Мартине

всегда поднималось отвращение. Никак не понять, что нашла в этом Хиггинботеме сестра. Этакое вредное насекомое, так и подмывает раздавить его ногой. «Ничего, когда-нибудь я еще набью ему морду», – нередко утешал себя Мартин, вынужденный терпеть его присутствие. Глазки зятя, злобные, точно у хорька, впились в него с неудовольствием.

– Ну, чего еще? – резко спросил Мартин. – Выкладывай.

– Эту дверь красили только на прошлой неделе, – угрожающе и вместе жалобно произнес мистер Хиггинботем. – А ты знаешь, сколько нынче дерут профсоюзники. Ходил бы поосторожней.

Мартин собрался было ответить, да раздумал – что толку связываться. Не задерживаясь взглядом на подлом, мерзком человечике, он посмотрел на литографию на стене. И поразился. Прежде она всегда нравилась ему, а сейчас будто увидел впервые. Барахло – вот что это такое, как все в этом доме. Мысленно он вернулся в дом, откуда только что ушел, и увидел сперва картины, а потом ее: пожимая ему руку на прощанье, она глядела на него так славно, по-доброму. Он забыл, где находится, забыл про Бернарда Хиггинботема, пока сей джентльмен не спросил:

– Призрак, что ль, увидел?

Мартин очнулся, посмотрел в ехидные, свирепые, трусливые глаза-бусинки, и перед ним, как на экране, возникли эти же глаза, когда Хиггинботем продает что-нибудь внизу, в лавке, – подобострастные, самодовольные, масляные и льстивые.

– Да, – ответил Мартин. – Увидел призрак. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Гертруда¹⁰. Он пошел из комнаты, споткнулся о распоровшийся шов заштопанного ковра.

– Не хлопай дверью, – остерег Хиггинботем.

Мартин бросило в жар, но он сдержался и без стука притворил за собой дверь.

Хиггинботем с торжеством поглядел на жену.

– Напился, – хрипло прошептал он. – Говорил я тебе, малый напьется.

Она покорно кивнула.

– Глаза у него очень блестели, – согласилась она, – и воротничка нету, а уходил в воротничке. Но, может, и всего-то выпил стаканчик-другой.

– Да его ноги не держат, – заявил супруг. – Я-то видел. Идет – спотыкается. Сама слыхала, в коридоре чуть не грохнулся.

– Наверно, об Алисину коляску споткнулся, – сказала она. – В темноте не видать.

В душе Хиггинботема поднимался гнев, и голос он тоже возвысил. Весь день в лавке он был тише воды ниже травы, дожидаясь вечера, когда среди домашних можно наконец стать самим собой.

– Говорят тебе, твой драгоценный братец пришел пьяный.

Он чеканил слова холодно, резко, безжалостно, точно штамповальная машина. Жена вздохнула и промолчала. Была она крупная, тучная, всегда неряшливо одетая, всегда замученная бременем своей плоти, домашних забот и мужнина нрава.

– Говорят тебе, сидит это в нем, от папаши унаследовал, – продолжал Хиггинботем тоном обвинителя. – Помрет в канаве, тем же манером. Сама знаешь.

Жена со вздохом кивнула и продолжала шить. Оба не сомневались, что Мартин вернулся пьяный. Не способные воспринять красоту, они не распознали в блестящих глазах и пылающих щеках примет первой юношеской любви.

– Прекрасный пример подает детям, – вдруг фыркнул Хиггинботем, нарушив молчание, его злила безответность жены. Иногда ему хотелось даже, чтобы она больше ему перечила. – Если еще раз придет выпивший, пускай выметается. Поняла? Не желаю терпеть его дебошир-

¹⁰ В лице Гертруды Лондон, несомненно, изобразил свою сводную сестру Элизу Лондон Шепард (1866–1939), которая была ему ближе прочих членов семьи.

ство, нечего ему пьянством растлевать невинных деток. – Хиггинботему нравилось новое для него слово, недавно вычитанное в газете. – Да, растлевать, вот как это называется.

И опять жена только вздохнула, горестно покачала головой и все продолжала шить. Хиггинботем вернулся к газете.

– А за последнюю неделю он заплатил? – метнул он поверх газетного листа.

Она кивнула, потом прибавила:

– Кой-какие деньжата у него еще есть.

– А когда опять в море?

– Видать, когда спустит все заработанное, – ответила она. – Вчера в Сан-Франциско ездил приглядеть корабль. Только он еще при деньгах, и разборчивый он. Не на всякий корабль станет наниматься.

– Нечего ему, голодранцу, задирать нос, – фыркнул Хиггинботем. – Разборчивый нашелся!

– Он чего-то говорил, мол, какая-то шхуна готовится плыть на край света, клад будут искать... если, мол, хватит у него денег дожидаться, поплывет с ними.

– Захотел бы остепениться, я б его взял возчиком, – сказал супруг, но в голосе не было и намека на благожелательность. – Том взял расчет.

На лице жены отразились тревога и недоумение.

– Сегодня вечером ушел. Нанялся к Карузерам. Они будут ему платить больше, мне это не по карману.

– Говорила я тебе, уйдет он! – воскликнула жена. – Ты мало ему платил, он больше стоит.

– Потихе у меня, – взъелся Хиггинботем. – Тыщу раз тебе говорил, не суйся в мои дела. Дождешься у меня.

– Мне все равно. – Она шмыгнула носом. – Том был хороший парнишка.

Супруг свирепо поглядел на нее. Совсем от рук отбилась.

– Не был бы твой братец бездельником, я взял бы его возчиком, – проворчал он.

– За стол и жилье он платит, – возразила она. – И он мне брат, и ничего тебе пока что не задолжал, какое у тебя право бесперечь к нему цепляться. Я ведь тоже не бесчувственная, хоть и прожила с тобой семь лет.

– А сказала ему, пускай бросает читать за полночь, не то будешь брать с него за газ? – спросил Хиггинботем.

Жена не ответила. Бунтарский дух ее сник, задавленный в глубине усталой плоти. Муж торжествовал. Победа осталась за ним. Глаза блеснули, с наслаждением он слушал, как она хлопает носом. Он упивался, унижая ее, унижить ее теперь куда легче, чем бывало в первые годы супружества, пока орава детворы и вечные мужнины придирки не измотали ее вконец.

– Ну, скажешь завтра, только и делов, – продолжал Хиггинботем. – И вот что, пока не забыл, пошли-ка завтра за Мэриан, пускай посидит с детишками. Тома-то нет, придется самому стать за возчика, а ты, имей в виду, будешь заместо меня в лавке.

– Так ведь завтра у меня стирка, – слабо возразила жена.

– Тогда встань пораньше и сперва постирай. Я до десяти не выеду.

Он злобно зашуршал газетой и опять принялся читать.



Глава 4

Мартин Иден, у которого от стычки с зятем все кипело внутри, ощупью пробрался по темному коридору и вошел к себе в крохотную каморку для прислуги, где только и умещались кровать, умывальник да стул. Мистер Хиггинботем из скарёдности прислугу не держал – жена и сама справится. К тому же комната прислуги позволяла пускать не одного, а двух квартирантов. Мартин положил Суинберна и Браунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины одышливо заскрипели под ним, но он не обратил на это внимания. Начал было снимать башмаки, но вдруг уперся взглядом в стену напротив, где на белой штукатурке проступали длинные грязно-бурые пятна – следы протекшего сквозь крышу дождя, и увидел: на этом нечистом фоне то плывут, то вспыхивают видения. Он забыл про башмаки и смотрел долго-долго, потом губы его дрогнули, и он шепнул: «Руфь!»

«Руфь!» Он и помыслить не мог, что обыкновенный звук может быть так прекрасен. Имя это ласкало слух, и Мартин упоенно повторял его: «Руфь!» То был талисман, волшебное слово, заклинание. Стоит прошептать его – и вот уже перед ним мерцает ее лицо, золотым сиянием заливают грязную стену. И не только стену. Оно уплывает в бесконечность, и душа устремляется за ним в эти золотые глубины на поиск ее души. Все лучшее, что было в Мартине, изливалось великолепным потоком. Уже одна мысль о ней облагораживала и очищала его, делала лучше и рождала желание стать лучше. Это было ново. Никогда еще не встречал он женщину, рядом с которой стал бы лучше. Наоборот, все они будили в нем животное. Он этого и не подозревал, но как ни жалок был их дар, многие отдали ему лучшее, что в них было. Никогда не задумываясь о самом себе, он не догадывался, что есть в нем что-то пробуждающее любовь в женских сердцах, – и потому их так к нему влечет. Женщины часто его добивались, сам же он ничуть их не добивался; и никогда бы не подумал, что благодаря ему иные женщины становились лучше. До сих пор он смотрел на них с беззаботной снисходительностью, а теперь ему казалось, женщины вечно цеплялись за него, тянули вниз своими грязными руками. Было это не справедливо по отношению к ним и к себе. Но, впервые задумавшись о самом себе, он и не мог судить по справедливости, прошлое теперь виделось ему позорным, и он сгорал от стыда.

Он порывисто поднялся и попробовал разглядеть себя в грязном зеркале над умывальником. Провел по зеркалу полотенцем и опять стал себя рассматривать, долго, внимательно. Впервые в жизни он посмотрел на себя по-настоящему. Глаза у него были зоркие, но до этой самой минуты замечали лишь вечно изменчивую картину мира, в который он всматривался так жадно, что всматриваться в себя было уже недосуг. Он увидел голову и лицо молодого двадцатилетнего парня, но, непривычный оценивать мужскую внешность, не понял, что тут хорошо, а что плохо. На широкий выпуклый лоб падают темные каштановые пряди, волнистые, даже чуть кудрявятся – ими восхищалась каждая женщина, каждой хотелось гладить их ласково, перебирать. Но он лишь скользнул по этой гриве взглядом, решив, что в ее глазах это не достоинство, зато долго, задумчиво разглядывал высокий квадратный лоб, стараясь проникнуть внутрь, понять, хорошая ли у него голова. Толковые ли мозги скрываются за этим лбом – вот вопрос, который сейчас его донимал. На что они способны? Далеко ли они его поведут? Приведут ли к Ней?

Интересно, видна ли душа в этих серо-стальных глазах, часто совсем голубых, вдвойне зорких оттого, что привыкли всматриваться в соленые дали озаренного солнцем океана. И еще интересно, какими его глаза кажутся ей. Он попробовал вообразить, что чувствует она, глядя в его глаза, но фокус не удался. Он вполне мог влезть в чужую шкуру – но лишь если знал, чем и как тот человек живет. А чем и как живет она? Она чудо, загадка, где уж ему угадать хоть одну ее мысль! Ладно, по крайней мере, глаза у него честные, низости и подлости в них

нет. Коричневое от загара лицо поразило его. Ему и невдомек было, что он такой черный. Он закатал рукав рубашки, сравнил белую кожу ниже локтя, изнутри, с лицом. Да, все-таки он белый человек. Но руки тоже загорелые. Он вывернул руку, другой рукой перекатил бицепс, посмотрел с той стороны, куда меньше всего достает солнце. Рука там совсем белая. Подумал, что бронзовое лицо, отраженное в зеркале, когда-то было таким же белым, и засмеялся: ему и в голову не пришло, что немного найдется на свете бледноликих фей, которые могли похвастаться кожей светлей и глаже, чем у него, светлей, чем там, где ее не опалило яростное солнце.

Рот был бы совсем как у херувима, если бы не одна особенность его полных чувственных губ: в минуту напряжения он крепко их сжимает. Порою стиснет в ниточку – и рот становится суровый, непреклонный, даже аскетический. У него губы бойца и любовника. Того, кто способен упиваться сладостью жизни, а может ею пренебречь и властвовать над жизнью. Подбородок и нижняя челюсть сильные, чуть выдаются вперед с оттенком той же воинственности. Сила в нем уравнивает чувственность и как бы привносит в нее свежесть, заставляя любить красоту только здоровую и отзываться ощущениям чистым. А меж губами сверкают зубы, которые не ведали забот дантиста и не нуждались в его помощи. Белые зубы, крепкие, ровные, решил Мартин, разглядывая их. И, разглядывая, вдруг забеспокоился. Откуда-то из глубин памяти всплыло смутное впечатление: вроде есть на свете люди, которые каждый день чистят зубы. Люди, что стоят куда выше его, люди ее круга. Наверно, и она каждый день чистит зубы. Что бы она подумала, узнай она, что он отродясь не чистил зубы? Он непременно купит зубную щетку, будет и у него такая привычка. Завтра же начнет, не откладывая. Одними только подвигами до нее не дотянешься. Придется и в обиходе своем все менять, и зубы чистить, и ошейник носить, хотя надеть крахмальный воротничок для него все равно что отречься от свободы.

Он все не опускал руку, потирая большим пальцем мозолистую ладонь и разглядывая ее – грязь будто въелась в самую плоть, никакой щеткой не отдерешь. А какая ладонь у нее! Вспомнил и чуть не захлебнулся восторгом. Точно лепесток розы, подумал он; прохладная и нежная, будто снежинка. Вот уж не представлял, что женская рука, всего лишь рука, может быть такой восхитительно нежной. Вообразилось чудо – как она ласкает, такая рука, он поймал себя на этой мысли и виновато покраснел. Слишком грубо, не годится так думать о ней. Такая мысль вроде спорит с возвышенностью ее души. Вся она – хрупкий светлый дух, недостижимый для всего низменного, плотского; и все-таки опять и опять возвращалось это ощущение – ее нежная ладонь в его руке. Он привык к шершавым мозолистым рукам фабричных девчонок и женщин, занятых тяжелой работой. Что ж, понятно, отчего их руки такие жесткие, но ее ладонь... Она такая нежная оттого, что никогда не знала труда. С благоговейным страхом он подумал: а ведь кому-то незачем работать ради куска хлеба, и между ним и Руфью разверзлась пропасть. Ему вдруг представилась эта аристократия – люди, которые не трудятся. Будто огромный бронзовый идол вырос перед ним на стене, надменный и могущественный. Сам он работал с детства, кажется, даже первые воспоминания связаны с работой, и все его родные работали ради куска хлеба. Вот Гертруда. Руки ее загрубели от бесконечной домашней работы и то и дело распухают от стирки, багровеют, точно вареная говядина. А вот другая его сестра, Мэриан. Прошлым летом она работала на консервном заводе, и ее славные тоненькие ручки теперь все в шрамах от ножей, резавших помидоры. Да еще по суставу на двух пальцах отхватила прошлой зимой резальная машина на картонажной фабрике. В памяти остались загрубевшие ладони матери, когда она лежала в гробу. И отец работал до последнего вздоха; к тому времени, как он умер, ладони его покрывали мозоли в добрых полдюйма толщиной. А у Нее руки мягкие, и у ее матери, и даже у братьев. Вот это всего поразительней; вернейший, ошеломляющий знак высшей касты, знак того, как бесконечно далека Руфь от него, Мартина.

Горько усмехнувшись, он опять сел на кровать и наконец снял башмаки. Дурак. Опьянел от женского лица, от нежных белых ручек. А потом у него перед глазами, на грязной штукатурке стены, вдруг возникла картина. Он стоит у мрачного многоквартирного дома. Поздний

вечер, лондонский Ист-Энд, и подле него стоит Марджи, пятнадцатилетняя фабричная девчонка. Он проводил ее домой после обеда, который раз в году хозяин устраивает для рабочих. Она жила в этом мрачном доме, где и свинье-то не место. Он протянул руку на прощанье. Марджи подставила губы для поцелуя, но он не собирался ее целовать. Почему-то он ее побаивался. И тогда она лихорадочно стиснула его руку. Он почувствовал, какая у нее жесткая мозолистая ладонь, и волна жалости захлестнула его. Он увидел ее тоскливые голодные глаза, истощенное недоеданием, почти еще детское тело, пугливо и неистово рванувшееся из детства к зрелости. И он обнял ее с бесконечным состраданием, наклонился и поцеловал в губы. Она не громко радостно вскрикнула и по-кошачьи прильнула к нему. Несчастный заморыш! Мартин все вглядывался в эту картину далекого прошлого. По коже поползли мурашки, как в тот вечер, когда она приникла к нему и сердце его согрела жалость. Какая серая картина, все склизко-серое, и под морозящим дождем склизкие камни мостовой. А потом лучезарное сияние разлилось по стене, и, заслоня ту картину, проступило, замерцало бледное лицо Руфи в короне золотых волос, далекое и недостижимое, как звезда.

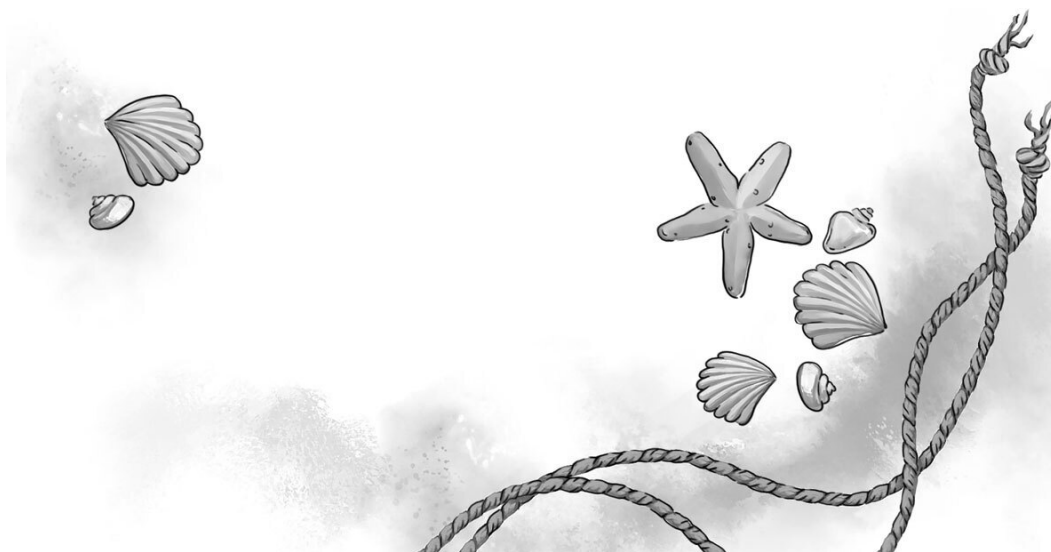
Он взял со стула книги – Браунинга и Суинберна – и поцеловал их. «А все равно она мне сказала прийти опять», – подумал он. Еще раз глянул на себя в зеркало и громко, торжественно произнес:

– Мартин Иден, завтра первым делом пойдешь в библиотеку и читаешь, как полагается вести себя в обществе. Понятно?

Он погасил свет, и под тяжестью его тела заскрипели пружины.

– И еще надо бросить ругаться, дружище, надо бросить ругаться, – сказал он вслух.

Он задремал, потом заснул, и такие ему снились дикийвинные сны, какие может увидеть разве что курильщик опиума.



Глава 5

Наутро он проснулся и после радужных снов очутился в парной духоте, все пропахло мыльной пеной и грязным бельем, сотрясало от дребезжания и скрежета тяжких будней. Выйдя из своей каморки, Мартин услышал хлопанье воды, резкий окрик, громкую затрепину – это задерганная сестра отвела душу на ком-то из своих многочисленных отпрысков. Вопль малыша пронзил Мартина как ножом. Он ощутил, что все, даже самый воздух, которым он дышит, мерзко, низменно. Как далеко это от красоты и покоя, которыми полон дом Руфи. Там мир духовный, здесь – материальный, и притом низменно материальный.

– Элфрид, поди сюда, – позвал он плачущего малыша и полез в карман брюк за деньгами, он держал их небрежно и тратил с той же легкостью, с какой жил. Сунул мальчонке монету в двадцать пять центов, прижал его на минутку к себе, хотелось унять его слезы.

– А теперь беги купи леденцов, да смотри поделись с братьями и сестрами. Купи таких, чтоб сосать подольше.

Гертруда подняла разгоряченное лицо от корыта и глянула на него.

– Хватило бы и пятицентовика. Всегда ты так, не знаешь цену деньгам. Теперь малый обьестся, живот заболит.

– Ничего, сестренка, – весело возразил Мартин. – Над моими деньгами трястись нечего. Доброе тебе утро, и поцеловал бы, да ты вот занятая.

Быть бы с сестрой поласковее, хорошая она и по-своему его любит. Но с годами она все больше становится на себя не похожа, бывает, ее не поймешь. Тяжкая работа, куча ребятишек, сварливый муж – наверно, из-за всего этого она так переменялась. И вдруг Мартину вообразилось, будто все ее существо вбирает в себя что-то от гниющих овощей, вонючей мыльной воды и замусоленной мелочи, которую она принимает за прилавком.

– Поди позавтракай, – буркнула она, хотя в душе была довольна. Из всего бродячего выводка братьев Мартин всегда был ее любимцем. И прибавила, вдруг ощутив, как что-то дрогнуло в ее сердце: – Дай-ка я поцелую тебя.

Большим и указательным пальцами она сняла стекающую пену с одной руки, потом с другой. Мартин обхватил ее расплывшуюся талию и поцеловал влажные от жары и пара губы. Ее глаза наполнились слезами – не столько от сильного чувства, сколько от слабости, которую вызывала вечная непосильная работа. Сестра оттолкнула его, но он уже успел заметить ее слезы.

– Завтрак в духовке, – поспешно сказала она. – Джим, должно, уж встал. Я спозаранку на ногах, стирка у меня. А теперь пошевеливайся и поскорей выметайся. Дома нынче хорошего не жди, Том-то взял расчет, придется Бернарду самому побывать за возчика.

Мартин пошел на кухню, а сердце щемило, распаренное лицо сестры, ее неряшливый вид растрavляли душу. Будь у нее на это немного времени, она бы его любила. Но она до полусмерти замучена. Скотина Бернард Хиггинботем – совсем ее загонял. И однако Мартин поневоле почувствовал, что в сестрином поцелуе не было никакой прелести. Правда, то был необычный поцелуй. Уже многие годы Гертруда целовала его, лишь когда он уходил в плавание или возвращался. Но сегодняшний поцелуй отдавал мыльной пеной, а губы у нее дряблые. Они не прижались к его губам быстро, сильно, как положено в поцелуе. Это был поцелуй усталой женщины, чья усталость копилась так долго, что она разучилась целоваться. Мартин помнил ее девушкой – до того, как выйти замуж, она, бывало, после тяжелого рабочего дня в прачечной ночь напролет танцевала с лучшими танцорами, а наутро прямиком с танцев опять отправлялась в прачечную – и хоть бы что. А потом он подумал о Руфи, у нее, наверно, губы прохладные и нежные, ведь вся она – прохлада и нежность. Должно быть, она и целует, как пожимает руку, как смотрит на тебя, – бесхитростно, от души. Он осмелился представить, будто ее губы

коснулись его губ, да так живо это представил, что у него закружилась голова и показалось, он парит в облаке розовых лепестков и весь пропитался их ароматом.

На кухне он застал Джима, второго квартиранта, тот лениво ел овсяную кашу и смотрел скучливо, отсутствующим взглядом. Он был подручным слесаря, и его слабовольный подбородок, сластолюбие и вместе с тем трусоватая тупость были верным знаком, что в жизни ему не преуспеть.

– Чего не ешь? – спросил он, когда Мартин уныло ковырнул уже простывшую недоваренную кашу. – Опять вчера напился?

Мартин покачал головой. Все, что вокруг, угнетало своим убожеством. Казалось, Руфь Морз теперь от него дальше прежнего.

– А я напился, – беспокойно хихикнув, похвастался Джим. – Набрался под завязку. И девчонка подвернулась первый сорт! Домой меня Билли доставил.

Мартин кивком подтвердил, что слушает, – так уж он был устроен – выслушивал всякого, кто бы с ним ни заговорил, – и налил себе чашку чуть теплого кофе.

– В Лотос-клуб на танцы пойдешь вечером? – спросил Джим. – Пиво будет, а если нагрет компания из Темескала¹¹, заварушки не миновать. Мне-то плевать. Все равно поведу свою подружку. Ух и погано ж у меня во рту!

Он скривился, попытался смыть мерзкий вкус глотком кофе.

– Ты Джулию знаешь?

Мартин покачал головой.

– Подружка моя, – объяснил Джим, – пальчики оближешь. Познакомил бы тебя с ней, да боюсь, отобьешь. И чего девчонки к тебе льнут, ей-ей, не пойму, а только все они от нас к тебе кидаются, прямо тошно.

– У тебя ни одной не переманил, – равнодушно ответил Мартин. Надо ж как-то досидеть за завтраком.

– Ну да, не переманил, – вскинулся Джим. – А Мэгги?

– Ничего у меня с ней не было. Даже и не танцевал с ней больше, только в тот вечер.

– Во-во, того раза и хватило! – воскликнул Джим. – Станцевал ты с ней да поглядел на нее – крышка. Оно конечно, у тебя на уме ничего такого не было, а она мне сразу от ворот поворот. Больше и не глядит на меня. Знай все про тебя спрашивает. Ты б только захотел, она б тебе живо свидание назначила.

– Так ведь я не хотел.

– А все едино. Где уж мне с тобой тягаться. – Джим посмотрел на него с восхищением. – И чем это ты их зацепляешь, Март?

– Не сохну по ним, вот чем, – был ответ.

– Прикидываешься, мол, тебе до них и дела нет? – жадно допытывался Джим.

Мартин призадумался, ответил не сразу.

– Пожалуй, и так можно, да сдается, оно по-другому. Мне и правда нет до них дела... почти что. А ты прикинься, глядишь, и подействует.

– Эх, не был ты вчера на танцульке в гараже Райли, – ни с того ни с сего заявил Джим. – Многие ребята сплоховали. Был там один красавчик из Западного Окленда. По кличке Крыса. Такой ловкий. Никто в подметки ему не годился. Мы все жалели, что тебя нет. А где тебя носило?

– Ездил в Окленд, – ответил Мартин.

– Представление глядел?

Мартин отодвинул тарелку и встал.

– Вечером на танцах будешь? – крикнул вдогонку Джим.

¹¹ Темескал – жилой район на севере Окленда, один из старейших в городе.

– Нет, навряд ли, – ответил Мартин.

Он спустился по лестнице и вышел на улицу, спеша надыхаться. В спертом воздухе квартиры он задыхался, а болтовня подручного доводила до бешенства. В иные минуты он еле сдерживался, готов был ткнуть того мордой в тарелку с кашей. Казалось, чем дольше Джим болтает, тем дальше отступает от него Руфь. Как стать достойным ее, когда водишь компанию с такой вот скотиной? Мартина ужаснула огромность встающей перед ним задачи, придавило тяжкое бремя – принадлежность к рабочему люду. Все держит его и не дает подняться – сестра, ее дом и семья, подручный слесаря Джим, все, кого он знает, все, с чем связан самой жизнью. Он ощутил оскоминау от жизни, а ведь прежде она радовала, хотя вокруг было все то же. Никогда его не одолевали сомнения, разве только над книгами, так ведь книги они книги и есть – красивые сказки о сказочном неправдоподобном мире. Но теперь он увидел этот мир, подлинный, самый настоящий, и на вершине его – цветок, женщину по имени Руфь; и с этих пор ему суждена горечь и острая, болезненная тоска и мука безнадежности, тем более жгучие, что питает их надежда.

Он колебался, в какую читальню пойти, в Берклийскую или Оклендскую, и порешил в Оклендскую, ведь в Окленде живет Руфь. Как знать, вдруг он ее встретит там: библиотека – самое подходящее для нее место. С чего начинать в библиотеке, он не знал и долго бродил между бесчисленными рядами полок с беллетристикой, и наконец девушка, похожая на французенку, с тонкими чертами лица – она, видно, тут распоряжалась, – сказала ему, что справочный отдел наверху. Он не сообразил спросить совета у человека, сидящего там за столом, и отправился путешествовать среди полок с книгами по философии. Про философские книги он слышал, но ему и не снилось, что по этой части столько понаписано. Высокие полки с громоздящимися на них увесистыми томами вызывали растерянность и в то же время подзадоривали. Тут было над чем поломать голову. В математическом отделе он увидел книги по тригонометрии, принялся было листать и в недоумении уставился на непонятные формулы и цифры. Он же умеет читать на родном языке, а это какая-то чужая речь. Норману и Артуру она известна. Он слышал ее от них. А ведь они братья Руфи. Он ушел от этих полок в отчаянии. Казалось, книги наступают со всех сторон, сейчас раздавят. Раньше он и не догадывался, что запас человеческих знаний так велик. Стало страшно. Да разве его мозгу со всем этим совладать? Потом вспомнилось, что есть же люди, и немало, кто с этим совладал; и он шепотом дал себе великую клятву, страстно поклялся, что, раз с этим справились те люди, справится и он, он не глупее других.

Так он бродил там и разглядывал набитые мудростью человечества полки, и уныние то и дело сменялось восторгом. В одном из смешанных отделов он наткнулся на *«Конспект Норри»*. Он благоговейно переворачивал страницы. Этот язык ему все же сродни. Их роднит море. Потом он увидел *«Навигационный справочник» Боудича* и книги *Лекки* и *Маршалла*. Вот он будет изучать навигацию. Бросит пить, выучится и станет капитаном. В эту минуту ему казалось: Руфь совсем рядом. Став капитаном, он женится на ней (если она пойдет за него). А не пойдет, что ж, благодаря ей он станет жить достойно и все равно бросит пить. Потом вспомнил про страховые компании и про судовладельцев, и те и другие над капитаном хозяева, и те и другие могут его погубить, а выгода у них прямо противоположная. Он окинул взглядом комнату, десять тысяч книг, и прищурился. Нет, ну его, море. В этом книжном богатстве – силища, и если ему суждены великие дела, он должен совершить их на суше. И потом, капитанам ведь не положено брать с собой в плавание жен.

«Конспект» Норри – «Полный компендиум практической навигации, содержащий все необходимые наставления по расчету корабельного курса в открытом море» (1805), стандартное пособие по навигации, написанное английским математиком, гидрографом, составителем морских карт

Джоном Уильямом Нори (в неточном написании Дж. Лондона – Норри; 1772–1843).

«Новый американский практический навигатор» (1802), классическое руководство по морской навигации, составленное американским математиком Натаниэлем Боудичем (1773–1838).

По-видимому, имеется в виду британский мореплаватель, капитан Джон Маршалл (1748–1819), в 1788 г. повторно (спустя два с половиной столетия после А. Сааведры) открывший тихоокеанский архипелаг в Микронезии, который впоследствии был назван его именем; автор «Общего курса навигации» (1810).

Сквайр Томптон Стратфорд Лекки (1838–1902) – ирландский капитан торгового флота, член Королевского географического общества, картограф, автор книг по морскому делу, в том числе авторитетного и неоднократно переиздававшегося пособия «Советы по практической навигации» (1881).

Наступил полдень, а там день стал клониться к вечеру. Мартин забыл про еду, он рылся в книгах о правилах приличия – ведь не только о том, какое новое дело выбрать, думал он, он ломал голову и над совсем простым и определенным вопросом. Если познакомился с девушкой из хорошего общества и она пригласила тебя заходить, скоро ли можно зайти? Вот как сложился у него в уме этот вопрос. Обширный свод правил хорошего тона ужаснул его, и он запутался в лабиринте объяснений – как принято у воспитанных людей обмениваться визитными карточками. Он бросил поиски. Он не нашел того, что искал, зато понял, какая прорва времени требуется, чтобы вести себя, как положено воспитанному человеку, и еще понял, что этому учатся с колыбели.

– Нашли, что вам было нужно? – спросил человек за столом, когда Мартин уходил.

– Да, сэр, – ответил он. – Хорошая у вас библиотека.

Тот кивнул.

– Приходите почаще, будем вам рады. Вы моряк?

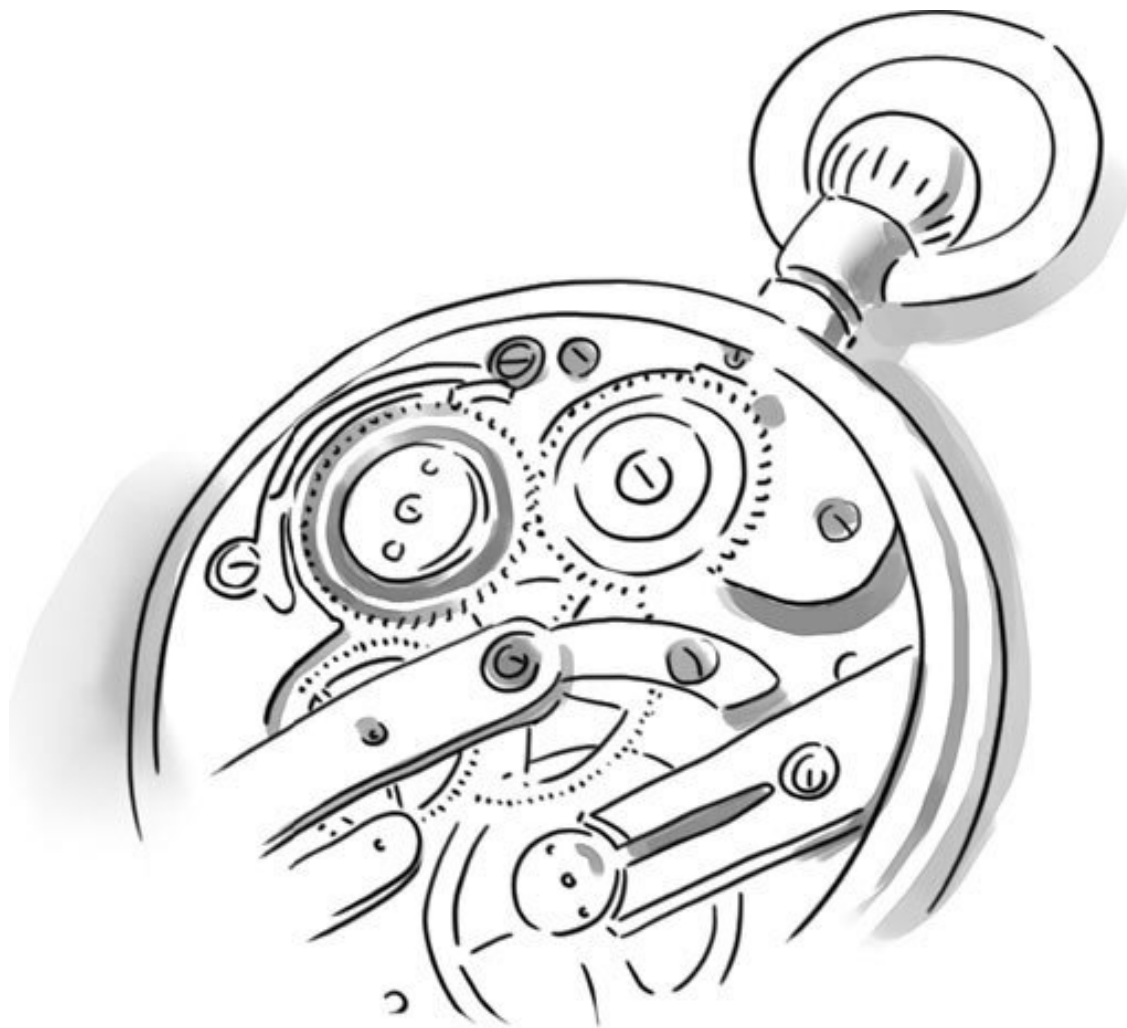
– Да, сэр, – ответил он. – Еще приду.

И, спускаясь по лестнице, с недоумением спросил себя: «А как это он прознал, что я моряк?»

И весь первый квартал шел скованно, прямо, неуклюже, а потом задумался, забылся и зашагал, как всегда, свободно, враскачку.



Глава 6



Ужасное нетерпение, сродни голоду, обуяло Мартина Идена. Он жаждал вновь увидеть девушку, чьи тоненькие ручки ухватили его жизнь великаньей хваткой. И не мог набраться храбрости и пойти к ней. Боялся, а вдруг прошло еще слишком мало времени и он окажется виноват в страшном нарушении страшной штуки, называемой этикетом. Долгие часы проводил он в Оклендской и Берклийской библиотеках, да притом не только записался туда сам, но записал своих сестер Гертруду и Мэриан и еще Джима, чье согласие получил за несколько кружек пива. Он брал книги по четырем абонеентам, и теперь в его камерке допоздна горел свет, и мистер Хиггинботем требовал с него за это лишних пятьдесят центов в не делю.

Он читал уйму книг, и они лишь обостряли его беспокойство. Каждая страница каждой книги была щелкой, позволявшей заглянуть в царство знаний. Чтение разжигало аппетит, и голод усиливался. Притом Мартин не представлял, с чего надо начинать, и постоянно ощущал, насколько ему не хватает знания самых азов. Ссылки на имена и события, которые, как он понимал, должны были быть ясны каждому, ставили его в тупик. Так же было и с поэзией, он читал много стихов и приходил от них в неистовый восторг. Он прочел стихотворения Суинберна, которых не было в томике, полученном от Руфи, и прекрасно понял *«Долорес»*. Но Руфь, конечно же, не поняла, решил он. Где ей понять такое, при ее изысканной жизни? Потом ему попались стихи *Киплинга*, и его захватили певучесть, ритм, волшебство, в которые тот облакал все привычно знакомое. Его изумило, как тонко этот поэт чувствует жизнь, какой он проника-

тельный психолог. Для Мартина психология была новым словом. Он купил толковый словарь, что нанесло изрядный урон его кошельку и приблизило день, когда придется снова уйти в плавание, чтобы опять заработать денег. К тому же это привело в ярость Хиггинботема, который предпочел бы, чтобы Мартин отдавал свои деньги в уплату за жилье.

«Долорес: Богоматерь Семи скорбей» – знаменитая поэма Суинберна, написанная летом 1865 г. и впервые опубликованная в авторском сборнике «Стихи и баллады» (1866).

Джозеф Редьярд Киплинг (1865–1936) – английский поэт, прозаик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1907), чьи стихи часто цитируются в произведениях Лондона.

Подойти к дому Руфи днем Мартин не решался, зато вечерами рыскал вокруг, точно вор, украдкой поглядывал на окна, ему были милы даже стены ее жилища. Несколько раз он чуть было не попался на глаза ее братьям, а однажды шел следом за мистером Морзом, на освещенных улицах всматривался в его лицо и при этом всю дорогу мечтал о какой-нибудь внезапной опасности, чтобы можно было кинуться и спасти ее отца. В другой вечер его бдение было вознаграждено – в окне второго этажа мелькнула Руфь. Он увидел только ее голову и плечи и поднятые руки – она поправляла перед зеркалом прическу. То было лишь мгновение, но для Мартина хватило мгновения – кровь забурила вином и запела в жилах. А потом Руфь опустила штору. Но теперь он знал, где ее комната, и с той поры часто топтался там, в тени дерева на другой стороне улицы, и курил сигарету за сигаретой. Как-то днем он увидел ее мать, та выходила из банка, и он лишний раз убедился, какое огромное расстояние отделяет от него Руфь. Она из тех, кто имеет дело с банками. Он отродясь не был в банке и думал, что подобные учреждения посещают только очень богатые и очень могущественные люди.

В одном отношении с ним произошел нравственный переворот. На него подействовали ее опрятность и чистота, и всем своим существом он теперь жаждал стать опрятным. Это необходимо, иначе он никогда не будет достоин дышать одним с ней воздухом. Он стал чистить зубы, скрести руки щеткой для мытья посуды и, наконец, в аптечной витрине увидел щеточку для ногтей и догадался, для чего она. Он купил ее, а продавец, поглядев на его ногти, предложил ему еще и пилку для ногтей, так что он завел еще одну туалетную принадлежность. В библиотеке ему попалась книжка об уходе за телом, и он тотчас пристрастился обливаться по утрам холодной водой, чем немало удивил Джима и смутил Хиггинботема, который не одобрял подобные новомодные фокусы, но всерьез задумался, не требовать ли с Мартина дополнительной платы за воду. Следующим шагом были отутюженные брюки. Став внимательней к внешности, Мартин быстро заметил разницу: у трудового люда штаны пузыряются на коленях, а у всех, кто рангом повыше, ровная складка идет от колен к башмакам. Узнал он и отчего так получается и вторгся в кухню сестры в поисках утюга и гладильной доски. Поначалу у него случилась беда: он непоправимо сжег одну пару брюк и купил новые, и этот расход еще приблизил день, когда надо будет отправиться в плавание.

Но перемены коснулись не только внешнего вида, они шли глубже. Он еще курил, но больше не пил. Прежде ему казалось, выпивка – самое что ни на есть мужское занятие, и он гордился, что голова у него крепкая и уж почти все собутыльники валяются под столом, а он все не хмелеет. Теперь же, встретив кого-нибудь из товарищей по плаванию, а в Сан-Франциско их было немало, он, как и раньше, угощал их, и они его угощали, но для себя он заказывал кружку легкого пива или имбирную шипучку и добродушно сносил их насмешки. А когда на них нападала пьяная плаксивость, приглядывался к ним, видел, как пьяный понемногу превращается в животное, и благодарил Бога, что сам уже не такой. Каждый жил не так, как хотел, и рад был про это забыть, а напившись, эти тусклые тупые души уподоблялись богам, и каждый становился владыкой в своем раю, вволю предавался пьяным страстям. Мартину крепкие

напитки были теперь ни к чему. Он был пьян по-иному, глубже, – пьянила Руфь, она зажгла в нем любовь и на миг дала приобщиться к жизни возвышенной и вечной; пьянили книги, они породили мириады навязчивых желаний, не дающих покоя; пьянило и ощущение чистоты, которой он достиг, от нее еще прибыло здоровья, бодрость и сила так и играли в нем.

Как-то вечером он наудачу пошел в театр – вдруг она тоже там – и действительно углядел ее с галерки. Она шла по проходу партера с Артуром и каким-то молодым человеком в очках, с курчавой гривой, при виде которого в Мартине мигом вспыхнули и опасения, и ревность. Она села в первом ряду, и он уже мало что видел в этот вечер, только ее – издали, словно в дымке – хрупкие белые плечи и пышные золотистые волосы. Зато другие смотрели по сторонам, и, изредка взглядывая на соседей, он заметил двух девушек в ряду перед ним, чуть в стороне, они оборачивались и бойко улыбались ему. Он всегда легко знакомился. Несвойственно ему было задирать нос. В прежние времена он улыбнулся бы в ответ, и не только, и подзадорил бы их на новые улыбки. Но теперь все стало по-другому. Ответив улыбкой, он отвернулся и намеренно не смотрел в сторону девушек. Но несколько раз, забыв и думать про них, он случайно встречал их улыбки. В один день себя не переделаешь, не мог он подавить в себе присущее ему добродушие и в такие минуты тепло, дружески улыбался девушкам. Все это было привычно. Он понимал, они по-женски заигрывают с ним. Но все теперь стало по-другому. Далеко внизу, в партере, сидела единственная на свете женщина, совсем иная, бесконечно непохожая на этих девушек из его среды, и оттого они вызвали у него лишь жалость и печаль. В душе он желал им обрести хоть малую толику ее достоинств и светлой красоты. Но нипочем не обидел бы их за кокетство. Оно не польстило ему, он даже почувствовал себя униженным: не будь он простым матросом, с ним бы не заигрывали. Принадлежи он к кругу Руфи, они не отважились бы на это, и при каждом их взгляде Мартин чувствовал, как цепко держит родная ему среда, не давая вырваться.

Он встал раньше, чем занавес опустился в последний раз, – хотел увидеть Руфь, когда она выйдет из театра. На тротуаре у подъезда всегда толпятся мужчины, можно надвинуть кепку на глаза, укрыться за чьей-нибудь спиной, и она его не заметит. В толпе, которая хлынула из театра, он оказался из первых, но едва занял место на краю тротуара, как появились обе девушки. Он понял, они ищут его, и готов был сейчас проклясть в себе то, что влечет к нему женщин. Понял, когда неторопливо, будто ненароком они подошли поближе. Замедлили шаг и, поравнявшись с ним, оказались в гуще толпы. Одна, проходя, задела Мартина и словно бы только теперь его заметила. Была она тоненькая, темноволосая, с черными дерзкими глазами. Но обе улыбнулись ему, и он ответил улыбкой.

– Привет! – сказал он.

Это вышло само собой – сколько раз все так и начиналось при подобных случайных встречах. Да и как было не сказать. Присущая ему широта натуры, терпимость и доброжелательность не дали бы покуситься на такую малость. Черноглазая девушка приветливо улыбнулась, довольная и явно готовая остановиться, а подружка, держа ее под руку, хихикнула и тоже явно не прочь была задержаться. Он поспешно соображал. Вдруг Руфь выйдет и увидит, что он разговаривает с ними, это не годится. Он круто повернулся и естественно, будто так и надо, зашагал рядом с черноглазой. Теперь-то он не был неловким, и язык не прилипал к гортани. Он чувствовал себя в своей тарелке, распрекрасно шутил, сыпал жаргонными словечками, острил – все как и положено поначалу при таких вот знакомствах и быстротечных романах. На углу, где почти весь людской поток двинулся прямо, он хотел свернуть. Но черноглазая пошла следом, ухватила его за руку повыше локтя и, увлекая за собой подругу, крикнула:

– Постой, Билл! Куда помчался? Чего это ты вдруг – решил, что ль, избавиться от нас?

Он со смехом остановился и обернулся к ним. Видно было, как позади них под фонарями движется толпа. А здесь темнее, и можно незамеченным увидеть, как мимо пройдет Руфь. Должна пройти, ведь это дорога к ее дому.

- Как ее звать? – спросил он ту, что хихикала, кивнув на черноглазую.
- У ней спроси, – прыснула она в ответ.
- Так как же? – повернувшись к черноглазой, спросил он.
- А ты сам еще не назвался, – возразила она.
- А ты не спрашивала. – Мартин улыбнулся. – Зато сразу попала в точку. Я и есть Билл, право слово.
- Прямо уж! – Она глянула ему в глаза горячо, призывно. – Ну, по-честному как тебя?



И опять заглянула в глаза. Вся извечная женская суть красноречиво выразилась в этом взгляде. И он без труда разгадал ее и уже знал наверняка, что, едва он пойдет в наступление, она начнет застенчиво, мягко уклоняться, готовая в любую минуту дать обратный ход, окажись он недостаточно напорист. И потом, все-таки он живой человек, не мог он не ощутить, как она привлекательна, и, конечно же, ее внимание льстило мужскому тщеславию. Да, он отлично понимал эту игру, знал таких девчонок как свои пять пальцев. Добропорядочные, по меркам их среды, они тяжело трудятся, получают гроши и, презирая возможность себя продать, чтобы зажить полегче, робко мечтают о крупнице счастья в пустыне жизни, а впереди, в будущем, борьба двух возможностей: беспросветный тяжелый труд или черная пропасть последнего падения, куда путь короче, хотя платят больше.

- Билл, – ответил Мартин и кивнул в подтверждение. – Верное слово, Билл и есть.
- Не разыгрываешь? – допытывалась она.
- Никакой он не Билл, – встряла ее подруга.
- А ты почему знаешь? – спросил он. – Ты ж меня раньше в глаза не видала.
- А мне и так видать, заливаешь, – был ответ.
- По-честному, Билл, как тебя звать-то? – спросила черноглазая.
- Сойдет хоть Билл, – признался он.

Она игриво ткнула его в плечо.

- Я ж знала, врешь, а все одно ты славный парень.

Он поймал ее зовущую руку и ощутил на ладони знакомые рубцы и меты.

- Когда с консервного ушла? – спросил он.

- А ты почему знаешь? Да он мысли угадывает! – в один голос воскликнули девушки.

Он вел с ними бессмысленный разговор, обычный между теми, кто не умеет мыслить, а перед его внутренним взором высились библиотечные полки, хранящие вековую мудрость человечества. С горечью улыбнулся он этой несообразности, и его одолели сомнения. Но меж тем, что он видел внутренним зрением, и шутилой болтовней он успевал следить за текущей мимо толпой из театра. И вот он увидел ее в свете фонарей, между братом и незнакомым молодым человеком в очках, и сердце у него упало. Так долго ждал он этой минуты. Он успел заметить что-то светлое, пушистое, что укрывало ее царственную головку, заметил благородство линий ее укутанной фигурки, изящество ее осанки и руки, которая слегка приподняла юбку; и вот уже ее не видно, а перед ним девушки с консервной фабрики с их безвкусыми попытками принарядиться, с безнадежными потугами сохранить опрятность, в дешевых платьях, с дешевыми лентами, с дешевенькими кольцами на пальцах. Его потянули за рукав, и он услышал голос:

- Проснись, Билл! Чего это с тобой?
- Что ты говоришь? – спросил он.
- Да ничего, – ответила темноглазая, вскинув голову. – Я только сказала...
- Что?

– Я говорю, хорошо бы ты где ни то откопал приятеля... для нее (показав на подругу) и мы б куда сходили, выпили фруктовой воды с мороженым, а то кофе или еще чего.

Мартина вдруг одолела душевная тошнота. Слишком резок был переход от Руфи – к такому. Совсем рядом с дерзкими вызывающими глазами этой девушки сияли ему из непостижимых глубин непорочности ясные, лучистые, точно у святой, глаза Руфи. И он ощутил, как в нем встрепенулись силы. Он лучше своего окружения. Жизнь для него означает больше, чем для этих фабричных девчонок, которые только и думают о мороженом да ухажере. А ведь в мыслях он всегда жил иной, тайной жизнью. Он пытался поделиться ими, но не нашлось ни одной женщины, да и ни одного мужчины, кто бы его понял. Пытался, да, но только озадачивал слушателей. А раз его мысли выше их понимания, значит, и сам он должен быть выше, убеждал он себя сейчас. В нем заговорила сила, и он сжал кулаки. Если для него жизнь означает больше, так и потребовать от нее надо больше; но с таких вот разве чего требуешь. Этим дерзким черным глазам нечего ему предложить. Известно, какие за ними скрываются мысли: о мороженом да еще кой о чем. А вот глаза рядом с ними, глаза как у святой, – они предлагали все мыслимое и немислимое, до чего он еще и додуматься не мог. Книжки и картины предлагают они, красоту и покой и все утонченное изящество более возвышенного существования. Ему знаком ход каждой мысли этой черноглазой. Все равно как часовой механизм. Можно проследить движение каждого колесика. Они зовут к низменному удовольствию, ограниченному, как могила, оно быстро приедается, и за ним ждет лишь могила. А глаза святой зовут к тайне, к невообразимому чуду, к жизни вечной. Он увидел в них ее душу и свою душу тоже.

- Одно плохо в этой программе, – вслух сказал он. – Свиданье у меня.

В глазах девушки вспыхнуло разочарование.

- Не иначе больного друга надо навестить, – съехидничала она.
- Нет, настоящее свиданье, как полагается... – Мартин запнулся. – С девушкой.
- Не врешь, нет? – серьезно спросила она.

Он посмотрел ей прямо в глаза:

– Нет, верно говорю. А чего б нам в другой раз не встретиться? Ты так и не сказала, как тебя звать. И живешь где?

– Лиззи, – ответила она, смягчаясь, сжала его локоть, на минуту прильнула к нему. – Лиззи Конноли¹². Живу на углу Пятой и Маркет-стрит.

Он еще немного поболтал с ними и распрощался. И домой пошел не сразу; стоя под деревом, где обычно нес свою вахту, он смотрел на окно и шептал: «У меня свиданье с тобой, Руфь. Только с тобой».

¹² Лиззи Конноли – подлинное имя одной из оклендских подружек Лондона.

Глава 7

С того вечера, когда он впервые увидел Руфь, он целую неделю просидел над книгами, а пойти к ней все не решался... Не раз бывало – наберется храбрости и уже готов пойти, но опять одолеют сомнения, и решимость тает. Он не знал, в какой час полагается зайти, спросить об этом было не у кого, и он боялся безнадежно оплошать. От прежних приятелей и прежних привычек он отошел, новых приятелей не завел, только и оставалось, что читать, и он посвящал чтению столько часов, что не выдержал бы и десяток пар обычных глаз. Но у него зрение было превосходное, да и вообще превосходное, редкостное здоровье. К тому же ум у него был вовсе нетронутый. Всю жизнь оставался нетронутым, не ведающим отвлеченных мыслей, какие может зародить книга, он был точно добрая почва – и вполне созрел для посева. Его не изнуряли ученьем, и он так жадно вгрызался в книжную премудрость, что не оторвешь.

К концу недели Мартину казалось, прошли столетия – так далеко позади осталась прежняя жизнь, прежние взгляды. Но ему отчаянно не хватало подготовки. Он пытался читать книги, которые требовали многолетнего специального образования. Сегодня он берется за книгу по древней философии, а завтра – по сверхсовременной, и от столкновения противоречивых идей голова идет кругом. Так же вышло и с экономистами. В библиотеке он увидел на одной полке *Карла Маркса*, *Рикардо*, *Адама Смита* и *Милля*, и малопонятные умозаключения одного не помогали убедиться, что идеи другого устарели. Он был сбит с толку, но все равно жаждал понять. Его заинтересовали сразу экономика, промышленность и политика. Проходя через Муниципальный парк, он заметил небольшую толпу, а посередине – человек шесть, они раскраснелись, громко, с жаром о чем-то спорили. Он присоединился к слушателям и услышал новый, незнакомый язык философов из народа. Один оказался бродягой, другой лейбористским агитатором, третий студентом юридического факультета, а остальные – рабочие, любители поговорить. И Мартин впервые услышал о социализме, анархизме, о *едином налоге* и узнал, что существуют непримиримые общественные учения. Он услышал сотни незнакомых терминов, принадлежащих к тем областям мысли, которых он при своей малой начитанности пока даже не касался. А потому он не мог толком уследить за ходом спора, и оставалось лишь гадать и с трудом нащупывать мысли, заключенные в столь непонятных выражениях. Были там еще черноглазый официант из ресторана – *теософ*, член профсоюза пекарей – агностик, какой-то старик, который озадачил всех странной философией: что в мире существует, то разумно, и еще один старик, который без конца вещал о космосе, об атоме-отце и атоме-матери.

Карл Генрих Маркс (1818–1883) – виднейший немецкий философ, социолог, экономист XIX в., историк, общественный деятель, автор эпохального труда «Капитал: Критика политической экономии» (опубл. 1867–1910).

Давид Рикардо (1772–1823) – английский экономист, один из крупнейших представителей классической политэкономии, автор книги «Принципы политической экономии и налогообложения» (1817).

Адам Смит (1723–1790) – знаменитый шотландский философ и экономист, один из основоположников современной экономической теории; его главный труд в этой области – «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).

Джон Стюарт Милль (1806–1873) – британский философ, социолог, экономист, политический деятель, автор книг «Опыты о некоторых нерешенных вопросах политической экономии» (1844) и «Принципы политической экономии» (1848).

Идея замены всей совокупности существующих налогов единым налогом, поглощающим ренту (доход от пользования землей и природными ресурсами), была выдвинута американским экономистом, публицистом и леволибертарианским политиком Генри Джорджем (1839–1897) в упоминаемой чуть ниже книге «Прогресс и бедность: Исследование причины промышленных депрессий и возрастания потребностей с увеличением богатства» (1879).

Теософ – приверженец теософии, религиозного учения, основанного в США в 1875 г. русской эмигранткой Еленой Петровной Блаватской (1831–1891) – оккультисткой, спиритуалисткой, писательницей и путешественницей.

За несколько часов, что Мартин там пробыл, в голове у него все перепуталось, и он кинулся в библиотеку смотреть значение десятка неведомых слов. Из библиотеки он унес под мышкой четыре тома: «Тайную доктрину» госпожи Блаватской, «Прогресс и бедность», «Квинтэссенцию социализма» и «Войну религии и науки». На свою беду, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка ошетикивалась длинными непонятными словами. Он читал полусидя в постели и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Столько было незнакомых слов, что, когда они попадались вновь, он уже не помнил их смысла и приходилось вновь лезть в словарь. Он стал записывать значение новых слов в блокнот и заполнял листок за листком. А разобраться все равно не мог. Читал до трех ночи, голова шла кругом, но не уловил в этой книге ни единой существенной мысли. Он поднял глаза, и ему показалось, комната вздымается, кренится, устремляется вниз, будто корабль во время качки. Он отшвырнул «Тайную доктрину», пустил ей вслед заряд ругательств, погасил свет и улегся спать. С другими тремя книгами ему повезло немногим больше. И не потому, что он туп, ни в чем не способен разобраться; мысли эти были бы ему вполне доступны, но не хватало привычки мыслить, не хватало и слов-инструментов, которые помогли бы мыслить. Он догадался об этом и некоторое время подумывал было читать только словарь, пока не усвоит все слова до единого.

«Тайная доктрина, синтез науки, религии и философии» (опубл. 1888–1897) – главное сочинение Блаватской, наиболее известный и самый обширный свод эзотерического знания.

«Война религии и науки» – имеется в виду либо исследование американского ученого британского происхождения Джона Уильяма Дрейпера (1811–1882) «История конфликта между наукой и религией» (1874), либо сочинение американского историка и педагога, сооснователя и первого президента Корнеллского университета Эндрю Диксона Уайта (1832–1918), «История войны науки с теологией в христианском мире» (1896).

«Квинтэссенция социализма» (1874) – книга немецко-австрийского экономиста и социолога, представителя органической школы в социологии Альберта Эберхарда Фридриха Шеффле (1831–1903), в 1890 г. переведенная на английский язык.

Зато утешением для него стала поэзия, он без конца читал стихи, и всего больше радости приносили ему поэты не слишком сложные, их было легче понять. Он любил красоту и нашел ее в стихах. Поэзия, как и музыка, глубоко волновала его; и сам того не зная, через нее он готовил ум к работе более трудной, которая ему еще предстояла. Страницы его разума были чисты, все прочитанное, что ему нравилось, легко строфа за строфой отпечатывалось на этих страницах, и скоро он уже с великой радостью повторял их наизусть вслух или про себя, наслаждаясь музыкой и красотой этих строк. Потом он случайно наткнулся на «Классические мифы»

Гейли и «Век сказки» Булфинча, стоявшие бок о бок на библиотечной полке. Это было озарение, яркий свет во тьме его невежества, и он с еще большей жадностью накинудся на стихи.

«Век сказки, или Истории о богах и героях» (1855) – комментированное переложение сюжетов античной мифологии, написанное американским латинистом и банкиром Томасом Булфинчем (1796–1867).

«Классические мифы в английской литературе» (1893) – книга американского филолога, преподавателя, литературного критика Чарльза Миллза Гейли (1858–1932), являющаяся, как заявлено на ее титульном листе, переработкой «Века сказки» Булфинча (см. пред. примеч.).

Библиотекарь так часто видел Мартина, что стал привечать его и всякий раз встречал улыбкой и кивком. Оттого Мартин и решился обратиться к нему. Взял несколько книг и, пока тот ставил штампы в карточках, выпалил:

– Послушайте, я у вас хочу кой-что спросить.

Библиотекарь улыбнулся и приготовился слушать.

– Вот если познакомился с молодой леди и она приглашает заходить, через какое время можно зайти?

Мартин почувствовал, что рубашка стала тесна и прилипла к плечам, даже в пот бросило, так трудно было про это спросить.

– Да, по-моему, когда угодно, – ответил библиотекарь.

– Да, но... тут одна загвоздка, – возразил Мартин. – Она... я... понимаете, тут такое дело: вдруг ее не застанешь дома. Она в университете учится.

– Тогда зайдите еще раз.

– Не так я вам сказал, – дрогнувшим голосом признался Мартин, решая полностью отдаться на милость этого человека. – Я-то вовсе не ученый, из простых, хорошего общества не нюхал. Эта девушка... совсем не то, что я, она... Я ей в подметки не гожусь. Может, дурак я, по-вашему, нашел про что спрашивать? – вдруг резко оборвал он себя.

– Нет-нет, что вы, уверяю вас, – возразил тот. – Наш вопрос несколько выходит за рамки справочного отдела, но я буду только рад помочь вам.

Мартин поглядел на него с восхищением.

– Вот бы мне наостриться эдак языком чесать, тогда ко дну не пойдешь, – сказал он.

– Прошу прощения?

– Я говорю, вот бы мне так разговаривать, легко да вежливо, ну, все такое.

– А! – понимающе отозвался тот.

– В какое время лучше идти? Середь дня... не больно близко к обеду или там к чаю? Или вечером? А то в воскресенье?

– Вот вам мой совет, – оживился библиотекарь. – Позвоните ей по телефону и выясните.

– Так и сделаю, – сказал Мартин, взял книги и пошел к дверям. На полдороге обернулся и спросил: – Когда разговариваешь с молодой леди... ну, хоть с мисс Лиззи Смит... как надо говорить: «мисс Лиззи» или «мисс Смит»?

– Говорите «мисс Смит», – со знанием дела сказал библиотекарь. – Всегда говорите «мисс Смит»... пока не познакомитесь поближе.

Так Мартин Иден разрешил эту задачу.

– Приходите в любое время, я всю вторую половину дня дома, – ответила Руфь по телефону, когда он, запинаясь, спросил, как бы вернуть ей книги.

Она сама встретила его на пороге и женским глазом тотчас заметила отглаженные брюки и едва уловимую, но несомненную перемену к лучшему во всем его облике. И еще ее поразило его лицо. Казалось, оно чуть ли не яростно пышет здоровьем, волны силы исходят от него и обдают ее. И опять потянуло прислониться к нему, согреться его теплом, и опять она подиви-

лась, как действует на нее его присутствие. А он, стоило, здороваясь, коснуться ее руки, в свой черед опять ощутил блаженное головокружение. Разница между ними заключалась в том, что Руфь с виду оставалась спокойной и невозмутимой, Мартин же покраснел до корней волос. С прежней неловкостью, спотыкаясь, он шагал за ней и поминутно рисковал задеть что-нибудь из мебели плечом.

Едва они уселись в гостиной, он почувствовал себя свободнее, куда свободней, чем ожидал. Это благодаря ей; и оттого, как приветливо она держалась, он любил ее сейчас еще неистовее. Сперва поговорили о тех книгах, что он брал у нее, – о Суинберне, перед которым он преклонялся, и о Браунинге, которого не понял; Руфь переводила разговор с одной темы на другую и при этом обдумывала, чем бы ему помочь. С той первой их встречи она часто об этом думала. Она очень хотела ему помочь. Он вызывал у нее жалость и нежность, каких она ни к кому еще не испытывала, и жалость не унижала Мартина, скорее в ней было что-то материнское. Такого человека не пожалеешь обычной жалостью, ведь он мужчина в полном смысле слова – он пробудил в ней девичьи страхи, взволновал душу, заставил трепетать от незнакомых мыслей и чувств. И опять неодолимо тянуло смотреть на его шею, и сладостно было думать: а что, если обхватить ее руками? Желание это и сейчас казалось сумасбродным, но Руфь уже стала привыкать к нему. У нее и в мыслях не было, что сама новорожденная любовь явится ей в подобном обличье. В мыслях не было, что чувство, вызванное Мартином, и есть любовь. Она думала, что ей просто-напросто интересен человек незаурядный, в котором заложены и ждут пробуждения многие достоинства, и даже воображала, будто ее отношение к нему – чистейшая филантропия.

Не знала она, что желает его; а для Мартина все было по-другому. Он-то знал, что любит, и желал ее, как не желал никого и ничего за всю свою жизнь. Он любил поэзию за красоту, но с тех пор, как познакомился с Руфью, перед ним распахнулись врата в безбрежные просторы любовной лирики. Благодаря Руфи он понял даже больше, чем когда читал Булфинча и Гейли. Была одна строчка, на которую неделю назад он бы и внимания не обратил: «Без памяти влюбленный, он умереть готов за поцелуй»¹³, а теперь она не шла у него из головы. Чудо и правда этой строки восхищали, и глядя на Руфь, он знал, что и сам мог бы с радостью умереть за поцелуй. Это он и есть без памяти влюбленный, и никакой другой титул не заставил бы его возгордиться больше. Наконец-то он понял смысл жизни, понял, для чего появился на свет.

Он не сводил с нее глаз и слушал ее, и дерзкие мысли рождались у него в голове. Он вспоминал неистовый восторг, какой испытал, когда в дверях она подала ему руку, и страстно мечтал вновь ощутить ее руку в своей. Невольно то и дело переводил взгляд на ее губы и жаждал коснуться их. Но не было в этой жажде ничего грубого, приземленного. С беспредельным восторгом следил он за их игрой, за каждым их движением, когда с них слетали слова, и, однако, то были не обыкновенные губы, как у других людей. Не просто губы из плоти и крови. То были уста непорочной души, и казалось, желает он их по-иному, совсем-совсем не так, как тянуло его к губам других женщин. Он мог бы поцеловать ее губы, коснуться их своими плотскими губами, но с тем возвышенным, благоговейным пылом, с каким лобзают ризы Господни. Он не сознавал, что в нем происходит переоценка ценностей, не подозревал, что свет, сияющий в его глазах, когда он смотрит на нее, сияет и в глазах всех мужчин, охваченных любовью. Не догадывался, какой пылкий, какой мужской у него взгляд, даже и вообразить не мог, что под этим жарким пламенем трепещет и ее душа. Всепокоряющая непорочность Руфи возвышала, преображала, и его чувства, мысли возносились к отрешенному целомудрию звездных высей, и знай он, что блеск его глаз пронизывает ее горячими волнами и разжигает ответный жар, он бы испугался. А Руфь в смутной тревоге от этого восхитительного вторжения, порой сама не

¹³ Цитата из стихотворения английского поэта и журналиста Уильяма Леонарда Кортиса (1850–1928) «Сонет о восстании» (1901, ст. 14).

зная почему, сбивалась, замолкала на полуслове и не без труда вновь собиралась с мыслями. Она всегда говорила легко, и непривычные заминки озадачили бы ее, не реши она с самого начала, что слишком уж необычен ее собеседник. Ведь она так впечатлительна, и, в конце концов, вполне естественно, что сам ореол выходца из неведомого ей мира так на нее действует.

В глубине сознания все время сидел тот же вопрос, как бы ему помочь, к этому она и клонила, но Мартин ее опередил.

– Может, вы дадите мне один совет? – начал он, и она с такой готовностью кивнула, что сердце Мартина заколотилось. – Помните, в тот раз я говорил, не могу я толковать про книги и про всякое другое, не умею? Ну, я после много про это думал. В библиотеку сколько много ходил, прорву книжек перебрал, да почти все мне не по зубам. Может, лучше начну я с самого начала. Учиться-то я толком не учился, никакой возможности не было. Сызмальства трудился до седьмого поту, а теперь, как побывал в библиотеке, глянул на книжки совсем другими глазами, да и книжки-то совсем другие, сдается мне, не те я книжки прежде читал. Понятно, на ранчо или там в кубрике и вот хоть у вас в доме книжки-то разные. А я одни и те же книжки и читал. Ну и все равно... Не хвалясь скажу: не такой я, как они, с кем компанию водил. Не то чтоб лучше матросов или там ковбоев, с кем по свету мотался... Я, знаете, и ковбоем был, недолго... только вот книжки всегда любил, читал все, что под руку попадет... Ну и вот... думал, что ли, по-другому.

Да, так к чему я гну-то. В таком вот доме я отродясь не бывал. А на прошлой неделе пришел и вижу все это, и вас, и мамашу вашу, и братьев, и всякое разное... ну и мне понравилось. Слышал я про такое, и в книжках тоже читал, а поглядел на ваш дом... ну прямо как в книжках. Ну и, стало быть, нравится мне это. Сам такого захотел. И сейчас хочу. Хочу дышать воздухом, какой в этом доме... чтоб полно книг, и картин, и красивых вещей, и люди разговаривают без крику, а сами чистые, и мысли у них чистые. Я-то весь век чем дышал – только и есть что жратва, да плата за квартиру, да потасовки, да попойки, только про это и разговор. Вон вы в тот раз пошли встречать мамашу, поцеловали ее, а я подумал: такой красоты сроду не видал. Я сколько много в жизни видал, а из других, кто кругом меня, почитай, никто этого не видит, так уж получается. Я люблю видеть, мне охота видеть побольше, и по-другому охота видеть.

Все до дела не дойду. А дело вот оно: хочу я пробиться к такой жизни, какая у вас в доме. Жизнь – это куда больше, чем нализаться, да вкалывать с утра до ночи, да мотаться по свету. Так вот, как мне пробиться? Как приняться, с чего начать? Сил-то я не пожалею, я, знаете, в работе кого хошь загоню и обгоню. Только вот начать, а уж там буду работать день и ночь. Может, вам смешно, мол, нашел про что спрашивать. Уж кого-кого, а вас бы спрашивать не годится, понимаю, да только больше спросить некого... вот разве Артура. Может, его и надо было спросить. Если б я...

Голос ему изменил. Хорошо продуманный план споткнулся об ужаснувшее Мартина предположение, что спрашивать следовало Артура и что он оказался дурак дураком. А Руфь заговорила не сразу. Слишком поглощена она была усилиями понять, как же эта спотыкающаяся, корявая речь и примитивность мысли сочетаются с тем, что она читала в его лице. Никогда еще не заглядывала она в глаза, излучающие такую силу. Перед ней был человек, для которого нет невозможного, – вот что прочла она в его взгляде, и, однако, он не умеет толково высказать свои мысли. Одно с другим как-то не вязалось. Сама же она рассуждала слишком сложно, а соображала стремительно и не способна была по справедливости оценить простоту. Однако уже в том, как он пытался высказаться, она уловила внутреннюю силу. Ей почудилось: его разум – исполин, что корчится, пытаясь вырваться из оков. Когда она наконец заговорила, в ее лице светилось бесконечное сочувствие.

– Вы сами сознаете, чего вам не хватает: образования. Вам следует начать с самого начала – *вернуться в среднюю школу, окончить ее, а потом поступить в университет.*

– Но на это нужны деньги, – перебил Мартин.

– Ах да! – воскликнула она. – Об этом я не по думала. Но у вас, наверное, есть родные... кто-нибудь, кто мог бы вам помочь?

Путь, намеченный Руфью, прошел не столько герой, сколько автор романа. По окончании (видимо, в 1890 г.) оклендской «грамматической» школы Коула для Лондона наступил почти пятилетний перерыв в формальном образовании. В январе 1895 г. он поступил в Оклендскую среднюю школу, из которой ушел год спустя; весной 1896 г. он некоторое время учился на подготовительных курсах в Университетской академии Андерсона в Аламиде, а потом занимался самообразованием; в сентябре стал студентом Калифорнийского университета в Беркли, где продержался лишь один семестр, после чего ушел (в феврале 1897 г.) с намерением посвятить себя литературе.

Он покачал головой:

– Отец с матерью померли. Есть у меня две сестры... одна замужем, и вторая, сдастся мне, скоро выйдет замуж. И еще полно братьев... Я самый младший... да от них никто подмоги не видал. Всегда только об себе и думали, шатались по свету, искали, где более лучше. Старший помер в Индии. Двое нынче в Южной Америке, один в плавание, китов промышляет, еще один с цирком бродяжит, на трапеции крутится. И я, видать, вроде них. С одиннадцати годов сам об себе заботился... как мать померла. Выходит, самому надо учиться, да только надо мне узнать, с чего начинать.

– Мне кажется, прежде всего надо взяться за грамматику. Вы говорите... – она собиралась сказать «ужасно», но спохватилась и dokonчила: – Не очень грамотно.

Мартин покраснел, его бросило в пот.

– Ну да, по-матросски, и такое словечко, бывает, верну, вам не понять. Так ведь одни эти слова мне и даются. В голове-то есть и другие слова... из книжек понабрался... да выговорить не умею, потому и не говорю.

– Дело не столько в том, что вы говорите, сколько в том, как именно говорите. Вы не сердитесь, что я с вами откровенна? Я не хочу вас обидеть.

– Нет-нет! – воскликнул Мартин и в душе поблагодарил ее за доброту. – Валяйте. Должен я знать, так уж лучше от вас узнать, чем от кого еще.

– Ну так вот, вы говорите «чем от кого еще» или «кого ни то еще» вместо «кого-нибудь еще». Вы употребляете тавтологичные сочетания.

– А это чего такое? – требовательно спросил он, потом робко прибавил: – Видите, я даже не пойму, чего вы объясняете.

– Боюсь, я просто ничего не объяснила, – с улыбкой сказала она. – Вы говорите «более лучше». Прилагательное «лучший» в сравнительной степени нельзя сочетать со словом «более». В этом сочетании слово «более» избыточное, ненужное. Нельзя сказать: «Он одет более лучше», правильно в этом случае: «Он одет лучше».

– Все очень даже понятно, – сказал он. – А раньше мне было невдомек. «Я буду говорить лучше», а не «более лучше». Ясное дело. Раньше мне было невдомек, а теперь уж больше никогда так не скажу.

Она обрадовалась и удивилась, что он так быстро и точно схватывает.

– Все это вы прочтете в грамматике, – продолжала Руфь. – Я и еще кое-что заметила в вашей речи. Вы говорите «сколько много», когда надо сказать «как много» или просто – «много».

– Скажите пример, – попросил он.

– Ну... – Она задумалась, наморщила лоб, крепко сжала губы, а он смотрел на нее, и она казалась ему в эту минуту еще прелестнее. – Вот, например: «Сколько много книг я прочел», или «Я сколько много всего в жизни видал».

Он поворачивал фразы в голове.

– Вам это не режет слух? – подсказала она.

– Видать, так неправильно, – не вдруг ответил он.

– Лучше не говорить «видать».

Как мило выговорила она это слово.

Мартин вспыхнул.

– И вы говорите «ложить» вместо «класть», – продолжала Руфь. – И «ихний» вместо «их» и «от их», «у их» вместо «от них», «у них».

– Как такое? – Он наклонился к ней, чувствуя, что перед всей этой ее мудростью впору стать на колени.

– Вы произносите... да нет, незачем все это перечислять. Вам необходима грамматика. Я сейчас возьму учебник и покажу, с чего начать.

Она встала, и в голове у него мелькнуло что-то из прочитанных в книжке правил поведения, и он неловко поднялся, опасаясь, то ли, что надо, делает, вдруг она подумает, будто он собрался уходить...

– Кстати, мистер Иден, – окликнула она его уже от дверей, – что такое «нализаться»? Вы несколько раз так сказали.

– А, нализаться, – засмеялся он. – Жаргон это. Мол, вы напились виски, пива или еще чего и захмелели.

– И еще одно. – Руфь тоже засмеялась. – Не употребляйте «вы» в безличных предложениях. «Вы» – очень личное местоимение, и сейчас вы сказали не совсем то, что намеревались.

– Не пойму я, о чем вы.

– Ну как же, вот вы сказали мне, мол, «вы напились виски, пива... и захмелели». Получается, что это я захмелела, понимаете?

– А вы бы не захмелели?

– Разумеется, захмелела бы, – с улыбкой ответила Руфь. – Но было бы вежливей, если бы вы ничего подобного мне не приписывали. В таких случаях предпочтительней обходиться без местоимений.

Она вернулась с грамматикой, подвинула свой стул к Мартину и села, и он подумал: видно, это он должен был подвинуть ей стул. Она листала страницы, а их склоненные головы оказались совсем рядом. И так он был поражен волнующей близостью Руфи, что едва ли воспринимал план будущих занятий, который она ему рисовала. Но вот она стала объяснять, как много значат спряжения, и он начисто забыл о ней. Он впервые слышал о спряжениях, важнейшие основы языка приоткрылись ему, и открытие привело его в восторг. Он ниже наклонился к странице, и волосы Руфи коснулись его щеки. До сих пор только раз ему случалось потерять сознание, а сейчас показалось, это повторится. Дыхание перехватило, удары сердца отдавались в горле – не вздохнуть. Никогда еще она не казалась такой близкой. В этот миг через глубокую пропасть, разделявшую их, перекинулся мост. Но его чувство к ней вовсе не стало от этого менее возвышенным. Не она опустилась до него. Это он воспарил в облаках, и его подняло к ней. Он и в этот миг преклонялся перед нею, это было сродни благоговейному пылу верующего. Ему казалось, он покусился на святая святых, и он тихонько, осторожно отвел голову, уклоняясь от прикосновения, от которого трепетал, будто под электрическим током, а Руфь этого и не заметила.



Глава 8

Шли недели, Мартин изучал грамматику, пересматривал книжки о правилах поведения в обществе и с жадностью читал все, что ему заблагорассудится. От прежнего своего окружения он оторвался. Девушки, бывавшие в Лотос-клубе, гадали, что с ним приключилось, и донимали расспросами Джима, а кое-кто из парней – завсегдатаев гаража Райли, не слишком стойких в драках, только радовался, что его больше не видно. Тем временем Мартин раскопал в библиотеке еще один клад. Если грамматика дала ему понятие о том, как строится язык, то эта книга дала понятие о том, как строится поэзия, и за дорогой ему красотой он стал различать размеры, ритмику и форму, стал постигать, как и отчего возникает красота. Еще одна современная книга, которая ему попала, рассматривала поэзию как реалистическое искусство, рассматривала всесторонне, со множеством примеров из лучших произведений. Никакие романы не читал он так увлеченно, как эти серьезные книги. И свежий, за все двадцать лет не обремененный науками ум, подхлестываемый зрелой жаждой познать, схватывал прочитанное поистине мужской хваткой, неведомой уму ученическому.

Когда с нынешней выигрышной позиции он оглядывался назад, прежний его мир – мир суши и моря и кораблей, матросов и алчных женщин – казался совсем маленьким; и однако он сливался с его теперешним миром и становился шире. Мартин стремился осмыслить все сущее в единстве и цельности и, когда стал находить точки соприкосновения этих двух миров, поначалу удивился. А возвышенность и красота мышления, открывавшиеся ему в книгах, облагораживали его. И оттого он все тверже верил, что в верхах общества, в кругах, к которым принадлежит Руфь и ее родные, так возвышенно мыслят все и согласно с таким строем мысли живут. Мир, в котором жил он, был низменным, и он хотел очиститься от грязи низменной повседневности и подняться в те возвышенные сферы, где обитали высшие классы. Все детство и юность его одолевало смутное беспокойство, чего-то ему не доставало, он сам не знал чего и, пока не встретил Руфь, все время искал что-то и не находил. Теперь же беспокойство стало острым, мучительным, он понимал наконец, понимал ясно, отчетливо, что ему нужно: красота, и напряженная умственная жизнь, и любовь. За эти несколько недель он раз шесть видел Руфь, и каждая встреча вдохновляла его. Руфь помогала ему в занятиях грамматикой, поправляла произношение и надоумила взяться за математику. Но встречи их были посвящены не только этим простейшим занятиям. Слишком много он уже повидал, слишком зрелый был у него ум, и конечно же, он не мог удовлетвориться одними только дробями, кубическими корнями, грамматическим и синтаксическим разбором; и временами они разговаривали о другом – о стихах, которые он недавно прочел, о поэте, чьим творчеством она занималась в последнее время. И если она читала вслух свои любимые строфы, Мартин наслаждался безмерно. Никогда ни у одной женщины не слышал он такого голоса. Малейший его звук воспламенял любовь, каждое слово повергало в волнение и трепет. Голос ее покорял, как музыка, богатством оттенков, мягкостью и глубиной – такое рождает культура и утонченность души. Он слушал ее, а в памяти звучали резкие крики темнокожих дикарок и злобных старых ведьм и чуть менее грубые, но все равно режущие слух голоса фабричных работниц, женщин и девушек его среды. Потом все они воплощались в зримые образы и чередой проходили перед его мысленным взором, и каждая, по контрасту, умножала прелесть Руфи. Мартин блаженствовал тем больше, что он знал: она до тонкости постигает суть прочитанного, с радостным трепетом по достоинству оценивает красоту выраженной на бумаге мысли. Она много читала ему из «Принцессы»¹⁴ и так чутко, всей душой отзывалась на красоту, что нередко он видел у нее на глазах слезы. В такие минуты ее волнение возвышало его, он чувствовал себя чуть ли не божеством и, глядя на нее и

¹⁴ «Принцесса» (ок. 1839–1847, опублик. 1847) – ирококомическая поэма Теннисона.

слушая, казалось, глядел в лицо самой жизни, читал ее тайны. А потом он осознал, какой тонкости восприятия достиг, и решил, что это от любви и нет на свете ничего прекраснее любви, и, пройдя вспять коридорами памяти, оглядел все прежние утехы и наслаждения – опьянение вином, женские ласки, грубые драки и состязания в силе, – и рядом с высокой страстью, что владела им сейчас, все ему показалось мелким и низменным.

Руфь не очень понимала, что происходит. Она никогда еще не испытывала сердечных тревожений. Все познания по этой части она брала из книг, где по прихоти автора все повседневное преображается в сказку; она не подозревала, что этот неотесанный матрос прокрадывается к ней в сердце, что там копятся потаенные силы, что однажды они вырвутся на свободу и в ней забушует пожар. Истинного пламени любви она не знала. Ее понятия о любви были чисто теоретические, ей представлялся ясный огонек, ласковый, как роса на заре или легкая зыбь на озере, нежаркий, как бархатно-черные летние ночи. Пожалуй, ей казалось, что любовь – это безмятежная привязанность, нежное служение любимому в неярком свете напоенного ароматом цветов неземного покоя. Ей и не снились вулканические потрясения любви, палящий жар, что испепеляет сердце, обращает в бесплодную пустыню. Не знала она, какие силы таятся в людях и в ней самой; пучины жизни прикрывала красивая сказка. Супружеская привязанность, соединявшая ее родителей, представлялась ей идеальной любовной близостью, и она предвкушала, как рано или поздно, без потрясений и волнений, и сама вступит в такую же исполненную тихой прелести жизнь бок о бок с любимым.

Оттого она и смотрела на Мартина Идена как на некую новинку, личность необычную, и воображала, что этой новизной и необычностью он так на нее и действует. Что ж тут удивительного! Ведь когда смотришь на диких животных в зверинце, когда видишь, как разыгралась буря, когда вздрагиваешь при вспышке зигзага молнии, тоже испытываешь непривычные чувства. Во всем этом узнаешь стихию, что-то стихийное есть и в нем. Он приносит с собой дыхание морских ветров, необъятных просторов. Отблески тропического солнца пламенеют в его лице, а в упругих вздувшихся мышцах ощущается первобытная сила жизни. Таинственный мир суровых людей и еще более суровых дел, мир, недоступный ей, оставил на нем рубцы и шрамы. Он неприручен, дик, и то, как он покорен ей, в глубине души льстило ее тщеславию. Да еще родилось самое обыкновенное желание приручить дикаря. Желание неосознанное, у нее и в мыслях не было, что, в сущности, она хочет вылепить его по образу и подобию своего отца, которого она считала прекраснейшим человеком. И где ей, такой неискушенной, было понять, что ощущение стихийности, которое исходит от него, и есть величайшая стихия на свете – сама любовь, – сила, что необоримо влечет друг к другу через весь мир мужчин и женщин, и столь же властно вынуждает оленей в должный час убивать друг друга ради самки, и даже простейшие частицы заставляет соединяться.

Быстрый духовный рост Мартина изумлял и занимал Руфь. Она обнаружила в нем достоинства, о которых и не подозревала и которые раскрывались день ото дня, точно цветы на щедрой почве. Она читала ему вслух Браунинга и часто поражалась, как оригинально он толковал спорные места. Ей не понять было, что, зная людей и самую жизнь, он как раз поэтому очень часто толковал эти места правильнее, чем она. Его суждения казались ей наивными, хотя нередко дерзкий полет мысли уносил его в такие звездные дали, куда она не в силах была следовать за ним и лишь загоралась и трепетала от столкновения с этой неведомой силой. Потом она играла ему, уже без всякого вызова, но испытывая его музыкой, и музыка проникала в глубины, каких ей было не измерить. Все его существо раскрывалось навстречу музыке, словно цветок навстречу солнцу, и он быстро одолел пропасть, отделявшую привычные ему подстегивающие ритмы и созвучия танцулек от той классики, которую Руфь знала чуть ли не наизусть. Однако он обнаружил плебейское пристрастие к *Вагнеру* – когда Руфь познакомила его с увертюрой к «*Тангейзеру*», музыка эта захватила его, как ничто другое. В этой увертюре словно отразилась вся его жизнь. Его прошлое воплотилось в музыкальной теме «Грота Венеры». Руфь же для

него слилась с темой «Хора пилигримов»; и, восхищенный увертюрой, он уносился ввысь, в далекие дали, в смутный мир духовных поисков, где вечно борются добро и зло.

Вильгельм Рихард Вагнер (1813–1883) – немецкий композитор, дирижер, автор монументальных музыкальных драм, теоретик и историк искусства, музыкальный критик; крупнейший реформатор оперы, оказавший огромное влияние на европейскую музыкальную культуру.

«Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1845) – романтическая опера Вагнера; либретто, представляющее собой вариацию легенды о средневековом немецком поэте Тангейзере, было написано в 1842–1843 гг. самим композитором по мотивам новелл немецких прозаиков-романтиков Э. Т. А. Гофмана и Л. Тика. «Грот Венеры» – сцена из I акта оперы, «Хор пилигримов» – из III акта.

Случалось ему усомниться, правильно ли она определяет и толкует то или иное музыкальное произведение, и на время он заражал сомнениями Руфь. Но когда она пела, сомнениям места не было, в пении была вся Руфь, и он только изумлялся дивной мелодичности ее чистого сопрано. И невольно сравнивал: что перед ним пискливые голоса, надрывное взвизгивание недокормленных и необученных фабричных девчонок и хриплые вопли, пропитые голоса женщин в портовых городах. Руфь с удовольствием пела и играла ему. По правде сказать, впервые в жизни к ней в руки попала живая душа, с которой можно было поиграть, душа податливая, наслаждением было лепить ее, как глину; ведь Руфи казалось, будто она формирует его душу, и она подвижна была самыми благими намерениями. Да и приятно было проводить с ним время. Он уже не вызывал неприязни. Враждебность, которую она ощутила при первой встрече, была, в сущности, страхом перед тем, что всколыхнулось в ней самой, а потом страх угас. Она сама того не понимала, но словно чувствовала, что он принадлежит ей. К тому же его присутствие бодрило. Она усердно занималась в университете и, когда отрывалась от пыльных книг и ощущала исходящее от этого человека дыхание свежего морского ветра, у нее прибывало сил. Сила! Именно силы ей не доставало, и он щедро дарил ей силу. Оказаться с ним в одной комнате или встретить его в дверях – значило получить жизненный заряд. А когда он уходил, она с новым запасом энергии, с удвоенным пылом возвращалась к своим книгам.

Она хорошо знала стихи Браунинга, но ей и в голову не приходило, что играть с чужой ли душой, со своей ли не годится. Мартин все больше интересовал ее, и теперь она была одержима желанием перекроить его жизнь.

– Вот хотя бы мистер Батлер, – сказала она однажды, когда с грамматикой, математикой и поэзией на сегодня было покончено. – Вначале у него не было особых преимуществ. Его отец был кассиром в банке, но много лет страдал чахоткой, умер в Аризоне, и после его смерти мистер Батлер, его еще звали просто Чарльз Батлер, оказался один в целом свете. Видите ли, отец был из Австралии, так что в Калифорнии родных у него не было. Он пошел работать в типографию – я слышала это от него много раз – и вначале получал три доллара в неделю. Теперь же его годовой доход тридцать тысяч, не меньше. Как он этого достиг? Он был честен, добросовестен, усерден и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, не то что большинство молодых людей. Он взял себе за правило каждую неделю откладывать определенную сумму, как бы это ни было трудно. Вскоре он, разумеется, зарабатывал уже не три доллара в неделю, а больше, и чем выше становился его заработок, тем больше он откладывал.

Днем он работал, а после работы посещал вечернюю школу. Он всегда думал о будущем. Потом он поступил в полную среднюю школу, тоже вечернюю. Ему было только семнадцать лет, а он уже прекрасно зарабатывал в качестве наборщика, но он был честолюбив. Он хотел выдвинуться, а не только зарабатывать на хлеб, и готов был на многие лишения, чтобы в конце концов добиться успеха. Он решил изучить право и поступил в контору моего отца рассыл-

ным, – подумайте только! – всего по четыре доллара в неделю. Но он умел быть бережливым и кое-что сэкономил даже из этих четырех долларов.

Она замолкла, надо было перевести дыхание и проверить, как Мартин принимает ее рассказ. И увидела в его лице живой интерес к нелегкой юности мистера Батлера, однако при этом он хмурился тоже.

– Да, нелегко пришлось парню, – заметил он. – Четыре доллара в неделю. Попробуй-ка проживи. Бьюсь об заклад, никаких разносолов не видывал. Я вон отдаю за жилье и за стол пять долларов в неделю и ем только что досыта, верно вам говорю. Видать, собачья была у него жизнь. Харч...

– Он сам готовил себе еду, – перебила Руфь, – на керосинке.

– Харч у него, видать, был хуже матросского на самых распоследних судах, а уж это хуже некуда, там, бывает, матроса голодом морят.

– Но подумайте, какого положения он добился! – с восторгом воскликнула Руфь. – Подумайте, что он может себе позволить на свои теперешние доходы! Теперь он может стократ возместить лишения той ранней поры.

Мартин пристально на нее посмотрел.

– А вот бьюсь об заклад, – сказал он, – невесело ему нынче, хоть он и при больших деньгах. Смолodu голодом сидел, кишки свои не жалел, теперь, видать, ему от них лихо.

Под его испытующим взглядом Руфь опустила глаза.

– Бьюсь об заклад, теперь он желудком хвораet! – вызывающе бросил Мартин.

– Да, правда, – призналась она, – но...

– Бьюсь об заклад, – не дослушал Мартин, – серьезный он всегда, угрюмый, вроде старого филина, и нет веселья ему, при всех его тыщах. И когда кто другой радуется, ему не больно весело смотреть. Верно я говорю?

Она кивнула и поспешила объяснить:

– Но просто он человек другого склада. Серьезный, рассудительный. Он всегда такой был.

– А как же, – подхватил Мартин. – Три доллара в неделю, четыре доллара в неделю, молодой парень сам куховарит на керосинке и гроши откладывает, день-деньской работает, вечерами учится – одна только работа, и ни тебе поухаживать, ни тебе повеселиться, даже и не знает, как это люди веселятся... Нет уж, слишком поздно он заполучил свои тридцать тыщ.

Чуткое воображение мигom высветило перед внутренним взором Мартина тысячи подробностей существования того парнишки, его душу, стиснутую единственным стремлением, что и привело его к тридцати тысячам годового дохода. С обычной для свободного полета его мысли стремительностью и полнотой ему ясно представилась вся жизнь Чарльза Батлера.

– Знаете, – прибавил он, – жалко мне мистера Батлера. Молодой он был, не соображал, а ведь обокрал себя, из-за этих тридцати тыщ в год вовсе жизни не видал. Теперь и за тридцать тыщ, экие деньжищи, не купить ему никакой радости, а ведь мальчишкой мог нарадоваться за десять центов – не откладывал бы их, а взял леденцов или там орехов, а то билетик на галерку.

Вот такая необычность взгляда и пугала Руфь. Не только удивляла новизной, не только противоречила ее мнениям, – Руфь всегда ощущала здесь зародыш правды, которая грозила опрокинуть или изменить ее собственные убеждения. Будь ей четырнадцать, а не двадцать четыре, она и сама, слушая Мартина, стала бы, пожалуй, по-иному смотреть на мир; но ей было двадцать четыре, и, консервативная по натуре и воспитанию, она уже впитала представления того узкого круга, в котором родилась и выросла. Правда, причудливые суждения Мартина в первую минуту ее тревожили, но она приписывала их своеобразию натуры этого человека и его удивительной жизни и быстро забывала. Однако, хотя она и не одобряла его взглядов, горячность Мартина, блестящие глаза, искренность, которой дышало его лицо, неизменно приводили ее в трепет, влекли к нему. Она бы никогда не подумала, что у этого выходца из совсем другого мира в такие минуты бывали прозрения, недоступные ей, и что мыслит он и шире, и

глубже. Ее ограниченность была ограниченностью ее мирка; но ум ограниченный не замечает своей ограниченности, видит ее лишь в других. А потому Руфь полагала, что мыслит широко и если их взгляды расходятся, виной тому ограниченность Мартина; и она мечтала помочь ему увидеть мир таким, каким видит она, расширить его горизонты, чтобы они совпадали с ее собственными.

– Но я еще не все рассказала, – продолжала она. – По словам моего отца, мистер Батлер с самого начала работал как ни один посыльный. Он всегда отличался необыкновенным усердием. Никогда не опаздывал, обычно приходил в контору даже раньше, чем положено. И, однако, он экономил время. Каждую свободную минуту посвящал учению. Учился счетоводству и машинописи, а за уроки стенографии платил тем, что диктовал по вечерам репортеру по судебным делам, которому требовалась практика. Скоро он стал писмоводителем и сумел достичь в своем деле совершенства. Мой отец оценил его по достоинству и понял, что он способен выдвинуться. По совету отца он поступил в юридический колледж. Стал юристом, и, как только вернулся в контору, отец сделал его своим младшим партнером. Он замечательный человек. Он несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов, и отец говорит, он, если захочет, может стать членом Верховного суда, как только освободится вакансия. Такая жизнь – вдохновляющий пример для всех нас. Она показывает, что волевой человек может подняться над своей средой.

– Замечательный человек, – искренне сказал Мартин.

Но что-то в этом повествовании оскорбило его чувство красоты, его понятие о жизни. Он не видел в жизни мистера Батлера цели, ради которой стоило во всем себе отказывать и терпеть лишения. Будь это любовь к женщине или стремление к красоте, Мартин бы понял. Когда с ума сходишь от любви, на все пойдешь ради поцелуя, но не маяться же ради тридцати тысяч в год. Нет, не по душе ему карьера мистера Батлера. В конце концов, было в таком успехе что-то жалкое. Тридцать тысяч в год, конечно, хорошо, но больные кишки и неспособность радоваться простым человеческим радостям начисто обесценивают этот роскошный доход.

Многое из этих своих размышлений он попытался высказать Руфи, но она возмутилась в душе и ясно поняла, что его еще надо шлифовать и шлифовать. То была очень обычная узость мышления – те, кто ею страдает, убеждены, что их цвет кожи, их верования и политические взгляды – самые лучшие, самые правильные, а все прочие люди во всем мире обделены судьбой. Из-за этой же узости иудей в древние времена благодарил Господа Бога, что тот не создал его женщиной, из-за нее же нынешний миссионер отправляется на край света, стремясь своей религией вытеснить старых богов; и из-за нее же Руфь жаждала переkreить этого выходца из иного мира по образу и подобию людей своего круга.



Глава 9

Мартин Иден возвратился из плавания, любовь гнала его в Калифорнию. Когда деньги его иссякли, он нанялся матросом на шхуну, отправлявшуюся на поиски сокровищ; восемь месяцев напрасных усилий – и *Соломоновы острова* стали свидетелями бесславного конца экспедиции. В Австралии с командой рассчитались, и Мартин тут же нанялся на корабль, идущий в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он немало заработал, так что теперь очень не скоро надо будет опять выйти в море, да еще и сумел много заниматься и много прочесть.

Соломоновы острова – тихоокеанский архипелаг к востоку от Новой Гвинеи, протяженностью более 1500 км, составная часть Меланезии. Джек Лондон побывал там вместе со своей второй женой Чармиан Киттридэж Лондон (1871–1955) в 1908 г., возобновив начавшееся годом раньше и прерванное из-за болезни путешествие в Южные моря на построенном им в 1906 г. кече «Снарк». На этом архипелаге происходит действие рассказа «Страшные Соломоновы острова» (1910), входящего в новеллистический сборник «Рассказы Южного моря» (1911), посвящен им и ряд страниц автобиографической повести «Путешествие на “Снарке”» (1911).

Ученье давалось ему легко, и эту способность поглощать знания подкрепляла неукротимость духа и неукротимость любви к Руфи. Он взял с собой грамматику, читал и перечитывал ее опять и опять, пока его не перегруженный знаниями мозг не овладел этой премудростью. Он подмечал, как грешат против грамотности его товарищи по плаванию, и всякий раз мысленно поправлял их неуклюжие выражения и повторял про себя уже по всем правилам. Он радовался открытию, что ухо его становится чувствительным к ошибкам, что у него появляется некое грамматическое чутье. Искаженное слово, неверное произношение резали ему слух, как фальшивая нота, но пока еще такая фальшивая нота нередко вырывалась и у него самого. Научиться всем этим новшествам с ходу он не мог.

Несколько раз подряд проштудировав грамматику, Мартин взялся за словарь и каждый день выучивал по два десятка новых слов. Оказалось, это задача не простая, и, стоя впередсмотрящим или за штурвалом, он упорно повторял слова из все удлиняющегося списка, их произношение и значения, и от этого неизменно клонило в сон. «Вряд ли», «по зрелом размышлении», «оставляет желать лучшего» – эти и иные выражения он шепотом повторял, стремясь привыкнуть к языку, каким разговаривала Руфь. «Их, их», а не «ихний», «что-то, что-то», а не «чтой-то» – настойчиво, тысячи раз твердил он и с удивлением стал замечать, что начинает разговаривать правильнее, чем сам капитан с помощниками и господа из кают-компании, охотники за сокровищами, которые финансировали экспедицию.

Капитан был норвежец с тусклыми глазами, у него невесть откуда оказалось собрание сочинений Шекспира, которое сам он и не думал читать, и Мартин стал стирать на капитана, а взамен получил доступ к драгоценным томам. И так он погрузился в шекспировские драмы, так легко запечатлелись у него в памяти многие места, которые особенно пришлись по душе, что одно время весь мир стал ему представляться *елизаветинскими трагедиями и комедиями* и даже думать он начал белыми стихами. Это оттачивало слух и давало прекрасное представление о богатстве родного языка; вдобавок это познакомило со многим, что устарело и вышло из употребления.

Подразумевается английская ренессансная драматургия эпохи ее расцвета, пришедшегося на время царствования королевы Елизаветы I Тюдор (1533–1603, годы правления – 1558–1603); именно в эту пору творили Уильям

Шекспир и его старишие современники – Роберт Грин, Томас Кид, Кристофер Марло и др.

Восемь месяцев были проведены с толком, и, мало того что Мартин приобщался к правильной речи и высокому строю мыслей, он многое понял в себе. Рядом со скромностью – ведь он так мало знает – в нем теперь была уверенность в своей силе. Он чувствовал, что резко отличается от товарищей по плаванию, и у него хватало ума осознать, что разделяет их, скорее, не уже им достигнутое, а то, чего он еще способен достичь. Что смог он, смогли бы и они; но что-то зрело, бродило в нем, подсказывая, что он может больше, чем уже сделал. Несказанная красота мира томила душу – вот если бы Руфь была здесь, разделить бы это с ней. Он решил, что опишет ей красивейшие уголки *Океании*. Творческое начало вспыхнуло в нем, побуждая воссоздать эту красоту, и не для одной Руфи, но для многих людей. И тут в неслыханном блеске его озарила великолепная мысль. Он станет писателем. Люди увидят, услышат, ощутят мир и его зрением, слухом, его сердцем. Он станет писать все, что угодно, – о событиях вымышленных и подлинных, – стихи и прозу и, как Шекспир, пьесы. Вот дело жизни, вот она, возможность приблизиться к Руфи. Писатели – титаны мира, и, уж конечно, они будут получше мистеров батлеров, пускай даже у тех и тридцать тысяч годового дохода и, стоит им захотеть, они сразу станут членами Верховного суда.

Океания – общее название обширного скопления (около 10 тысяч) островов и атоллов в центральной и юго-западной частях Тихого океана; вошло в обиход в начале XIX в.

Едва родившись, мысль эта овладела им, и весь обратный путь в Сан-Франциско был как сон. Он опьянел от своего неожиданного могущества, ему казалось, что для него нет ничего невозможного. Посреди пустынных просторов океана перед ним отчетливо вырисовывалось будущее. Лишь теперь он впервые ясно увидел Руфь и ее мир. Мир этот возник перед его мысленным взором во плоти – можно было и так и эдак повернуть его и хорошенько разглядеть. Многое оказалось смутно, расплывчато, но Мартин увидел целое, а не подробности, и еще увидел, как этим миром овладеть. Писать! Мысль эта разгорелась в нем. Он начнет, как только возвратится. И первым делом опишет путешествие охотников за сокровищами. Продаст рассказ какой-нибудь *сан-францисской газете*. А Руфи ничего не скажет, и она вдруг увидит его имя напечатанным, и удивится, и обрадуется. Он будет писать, а учиться не бросит. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим. Он умеет работать, и никаким крепостям перед ним не устоять. Ему больше не придется плавать простым матросом; и тут в его воображении промелькнула паровая яхта. Есть писатели, у которых свои паровые яхты. Конечно, тут нужен разгон, предостерег он себя, хорошо, если поначалу удастся заработать столько, чтоб можно было учиться дальше. А потом, пройдет время, много ли, мало – неизвестно, он выучится, подготовится и напишет замечательные вещи, и его имя будет у всех на устах. Но куда важней – несравнимо важней, важней всего на свете, – он покажет, что достоин Руфи. Слава – это прекрасно, однако великолепная мечта его родилась ради Руфи. Не славы он ищет, он просто без памяти влюблен.

«Сан-францисский наблюдатель» – сан-францисская ежедневная газета, издающаяся с 1863 г. и неоднократно менявшая название («Демократическая печать», 1863–1865; «Ежедневный наблюдатель», 1865–1889; «Наблюдатель», 1889–1902; «Сан-францисский наблюдатель», с 1902 г. по настоящее время). На ее страницах появилось немало статей Лондона, а в воскресном приложении к «Наблюдателю» – рассказ «Бог Эрика Брэма» («Встреча, которую трудно забыть», 1900).

Он приехал в Окленд с туго набитым кошельком, поселился в той же каморке у Бернарда Хиггинботема и засел за работу. Даже не дал знать Руфи, что возвратился. Решил пойти к ней, когда напишет очерк про охотников за сокровищами. Отложить встречу с ней было не так уж трудно – в нем пылала яростная жажда творчества. К тому же очерк приблизит к нему Руфь. Много ли надо написать, он не знал, но сосчитал, сколько слов на развороте воскресного приложения к «Сан-францисскому наблюдателю», и решил так держать. За три дня, работая как бешеный, он закончил повествование, старательно, покрупнее для разборчивости переписал его и тогда узнал из пособия по стилистике, взятого в библиотеке, что существуют на свете абзацы и кавычки. Прежде он ни о чем таком не задумывался и тотчас принялся заново переписывать свое сочинение, поминутно справляясь с пособием, и за один день узнал о том, как строить рассказ, больше, чем средний школьник узнает за год. Переписав свой очерк во второй раз и тщательно свернув трубочкой, он наткнулся в какой-то газете на советы начинающим авторам, и оказалось, что рукописи ни в коем случае нельзя сворачивать трубочкой, а писать следует на одной стороне страницы. Он же нарушил оба эти правила. Из той же заметки он узнал еще, что крупные газеты платят не менее десяти долларов за столбец. И когда переписывал рукопись в третий раз, утешался, умножая десять столбцов на десять долларов. Получалось все время одно и то же: сто долларов – повыгодней, чем плавать матросом. Не эти бы промахи, на все про все ушло бы три дня. Сотня долларов за три дня! В море он бы их заработал за три месяца, а то и поболее. Экая глупость – мотаться по морям, если можешь писать, порешил он, хотя деньги сами по себе ничего не значат. Они тем ценны, что дают свободу, позволяют купить приличную одежду, – а все это приблизит его, и очень быстро, к тоненькой бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и вдохновила его.

Он запечатал рукопись в большой конверт и адресовал ее редактору «Сан-францисского наблюдателя». Ему представлялось, будто все, что присылают в газету, немедленно печатается, и, послав рукопись в пятницу, он надеялся в воскресенье увидеть свое творение на страницах газеты. Отличный способ оповестить Руфь, что он вернулся. Тогда в воскресенье, во вторую половину дня, он позвонит ей и увидит ее. А меж тем его уже занимала новая мысль, и он гордился, что она такая здравая, разумная и скромная. Он напишет приключенческую повесть для мальчишек и отошлет в «Спутник юношества». И он пошел в публичную библиотеку посмотреть комплекты «Спутника юношества». Оказалось, повести с продолжением печатаются там обычно в пяти номерах, около трех тысяч слов в каждом. Были и такие, которые печатались даже в семи номерах, и он решил писать именно такую.

«Спутник юношества» – иллюстрированный еженедельник для подростков, издававшийся в Бостоне с 1827 по 1929 г. На его страницах начиная с ноября 1899 г. появилось немало рассказов Дж. Лондона.

Однажды он нанялся на китобойное судно, направлявшееся в Арктику, – плавание должно было продлиться три года, но уже через полгода все *кончилось кораблекрушением*. Одаренный живым, подчас необузданно пылким воображением, Мартин, однако, всему предпочитал доподлинную правду и хотел писать о том, что знает. Охоту на китов он знал и, основываясь на этом знании жизни, принялся сочинять приключения двух мальчишек – своих героев¹⁵. Пустячная работа, решил он в субботу вечером. В тот день он закончил первый кусок в три тысячи слов, чем позабавил Джима, зато Хиггинботем весь обед злобно язвил насчет «писаки», который завелся в их семействе.

¹⁵ Речь идет о повести в семи главах «Где мальчики становятся мужчинами», отправленной Лондоном в конце октября 1898 г. в редакцию «Спутника юношества». Получив отказ в публикации, автор в мае следующего года предложил ее другому изданию – «Юность и время», которое приняло ее к печати, но так и не опубликовало; текст этой повести, как и многих других ранних опытов Лондона в прозе, стихах и даже драматургии, утрачен.

Арктическая экспедиция Мартина представляет собой беллетризованное воспоминание автора о своем первом дальнем плавании – семимесячной службе матросом на трехмачтовой промысловой ихуне «Софи Сазерленд», которая в 1893 г. совершила поход к берегам Японии и в Берингово море с целью охоты на морских котиков. В конце августа ихуна благополучно вернулась в Окленд, кораблекрушением же закончилось, по-видимому, плавание другого судна – ихуны «Мэри Томас», которая ушла в свой последний рейс в январе 1894 г. и на которую Лондон также планировал завербоваться, но то ли опоздал, то ли передумал.

Мартин же с тайной радостью представлял, как зять захлопает глазами, когда раскроет поутру воскресный выпуск «Наблюдателя» и увидит очерк про охотников за сокровищами. В то воскресенье он спозаранку был уже у входной двери и лихорадочно перелистывал газету. Перелистал и еще раз, очень внимательно, потом сложил и оставил там, где взял. Хорошо хоть никому загодя не сказал про свое сочинение. Наверно, ошибся в расчетах, написанное не так-то быстро попадает на страницы газеты, решил он, поразмыслив. Притом в его сочинении нет таких уж свежих новостей, и, скорее всего, редактор прежде напишет ему об этом.

После завтрака он опять засел за повесть с продолжением. Слова так и лились, хотя он нередко отрывался – искал в словаре значение слова или заглядывал в учебник стилистики. А уж заглянув, часто при этом читал и перечитывал какую-нибудь главу, не больше одной зараз; и утешался тем, что, пока он не пишет то замечательное, что в себе чувствует, он, во всяком случае, набивает руку в искусстве строить сочинение и учится додумывать и выражать свои мысли. Он трудился дотемна, потом отправился в читальню и до самого закрытия, до десяти часов, вдумчиво читал журналы и еженедельники. Такую он себе составил программу на неделю. Каждый день писал три тысячи слов и каждый вечер с пристрастием изучал журналы, раздумывая над рассказами, очерками и стихами, по мнению редакторов годными для печати. Одно было несомненно: он может писать не хуже всего этого великого множества писателей, а дайте только срок, и он напишет так, как им и не снилось. Прочитав в «Книжных новостях» заметку о гонорарах журнальных авторов, он обрадовался не столько что Киплинг получал доллар за слово, сколько тому, что первоклассные журналы платят не меньше двух центов за слово. «Спутник юношества», несомненно, первоклассный журнал, а стало быть, за три тысячи слов, которые он написал в тот день, он получит шестьдесят долларов – в плавании столько заработаешь за два месяца!

Вечером в пятницу он дописал последнюю часть – всего получилась двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово получается четыреста двадцать долларов – неплохо за неделю работы. Столько денег сразу у него сроду не было. Не придумаешь, на что их все и потратить. Он напал на золотую жилу. Из нее можно черпать и черпать. Он купит еще одежды, подпишется на разные журналы, купит десятки справочников, а то ходи каждый раз в библиотеку. И все равно большая часть четырехсот двадцати долларов остается неистраченной. Он не знал, как тут быть, пока не додумался нанять прислугу Гертруде и купить Мэриан велосипед.



Он отправил пухлую рукопись в «Спутник юношества» и, задумав очерк о ловле жемчуга, в субботу после обеда пошел к Руфи. Он заранее позвонил по телефону, и она сама встретила

его в дверях. И опять ее обожгло жаркой волной – таким все в нем дышало здоровьем. Казалось, эта жаркая сила разлилась по всему ее телу, и Руфь затрепетала. Мартин взял ее руку в свои, заглянул в ее голубые глаза и вспыхнул, но за восемь месяцев под солнцем лицо его стало совсем бронзовым, и этот свежий загар скрыл краску на щеках, но не скрыл полосу на шее, натертую жестким воротничком. Красный след позабавил Руфь, но, едва она заметила, как Мартин одет, смеяться расхотелось. Костюм сидел отлично – первый его костюм от портного, – и казалось, Мартин стал стройнее, лучше сложен. К тому же кепку заменила мягкая шляпа, Руфь велела ее надеть и с одобрением отозвалась о том, как он теперь выглядит. Она уж и не помнила, когда так радовалась. Эта перемена – дело ее рук, тут есть чем гордиться, и она, конечно же, будет помогать ему и дальше.

Но самая серьезная перемена произошла в его речи, и именно это было ей всего приятнее. Он стал говорить не только правильнее, но и непринужденней, и его словарь стал много богаче. Однако стоило ему разволноваться или увлечься, и он опять ошибался в произношении слова, неправильно строил фразу. И случалось, смущенно запинаясь, вставляя в разговор лишь недавно выученное слово. Но при этом речь его не только стала непринужденнее; Руфь с удовольствием отметила, как свободен, остроумен ход его мысли. Именно веселые шутки, способность добродушно подтрунивать и сделали его любимцем в своем кругу, но раньше он не находил нужных слов, не умел правильно выражаться, а потому и не мог проявить эту способность при Руфи. Он еще только начинал осваиваться, чувствовать, что он не вовсе чужак здесь. Но был очень осторожен, намеренно осторожен, предпочитал, чтобы веселый и легкий тон задавала Руфь, а сам, хоть и не отставал, не осмеливался ее опережать.

Он рассказал, чем был занят, поделился своими планами – зарабатывать на жизнь писательством и учиться дальше. Но, к немалому его разочарованию, Руфь этого не одобрила. Его план не слишком ей понравился.

– Видите ли, – откровенно сказала она, – писательство должно быть профессией, как и все остальное. Я, разумеется, в этом не очень сведуща. Я лишь высказываю общепринятое мнение. Разве можно стать кузнецом, не проучившись этому ремеслу три года... или, кажется, пять? Писателям же платят много больше, чем кузнецам, и, должно быть, очень многие хотели бы писать... пробуют стать писателями.

– Ну а может быть, я как раз для этого и создан, чтобы писать? – допытывался Мартин, втайне ликуя, что так ловко подбирает слова, и вся эта сцена, самый дух ее тотчас высветились на широком экране воображения рядом с другими сценами его жизни – сценами грубыми, жестокими, пошлыми, мерзкими.

Вся эта пестрая мозаика мигом вспыхнула перед ним, не прервав беседу, не нарушив спокойное течение его мыслей. На экране воображения он увидел себя и милую прелестную девушку – они сидят напротив друг друга и беседуют на правильном языке в комнате, полной книг и картин, где все так прилично и культурно, все озарено ярким светом незыблемого великолепия; а по обе стороны тянутся, отступая к отдаленным краям экрана, совсем иные, уродливые сцены, каждая – отдельная картинка, и он, зритель, волен разглядывать любую. Он видел их сквозь медленно плывущие пряди и клубы зловещего тумана, что истаявал в лучах ярко-красного, слепящего света. Вот ковбои у стойки пьют обжигающее горло виски, слышны непристойности, грубая брань, и сам он тут же, с ними, пьет и сквернословит заодно с самыми буйными или сидит за столом под коптящей керосиновой лампой, и стучат, звенят монеты, и карты переходят из рук в руки. Вот он на полубаке «Саскуиханны», голый по пояс, сжав кулаки, без перчаток бьется в знаменитой схватке с Рыжим Ливерпулем; а вот треклятая палуба «Джона Роджерса» в то серое утро, когда они попытались взбунтоваться, помощник капитана в предсмертных муках судорожно дергается на крышке грузового люка, револьвер в руках капитана изрыгает огонь и дым, а вокруг теснятся разъяренные матросы, их лица искажены ненавистью, они отчаянно богохульствуют и падают под выстрелами... И опять перед Мартином

та, главная, картина, спокойная, чистая, освещенная ровным светом, где среди книг и картин сидела Руфь и беседовала с ним; вот и фортепьяно, на котором она потом будет ему играть, и до него доносится эхо его же тщательно выбранных, правильно произнесенных слов: «Ну а может быть, я как раз для того и создан, чтобы писать?»

– Но даже если человек как раз для того и создан, чтобы стать кузнецом, – со смехом возразила она, – я не слышала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не обучившись этому ремеслу.

– А что вы мне посоветуете? – спросил он. – И не забудьте, я чувствую, у меня есть способность писать... не могу объяснить, просто знаю, есть у меня эта способность.

– Надо получить солидное образование, – был ответ, – независимо от того, станете ли вы в конце концов писателем. Какое бы поприще вы ни избрали, образование необходимо, и притом не поверхностное, не бессистемное. Вам бы следовало закончить среднюю школу.

– Да... – начал он, но она перебила, досказала то, о чем не подумала сразу:

– При этом вы, разумеется, могли бы продолжать писать.

– Пришлось бы, – хмуро сказал он.

– Почему? – Она взглянула на него, немало озадаченная, ей не слишком приятно было, что он упорствует в своей затее.

– Потому что, если не писать, не будет и средней школы. Мне надо на что-то жить и покупать книги и одежду.

– Совсем забыла, – засмеялась она. – Ну зачем вы не родились человеком со средствами?

– Лучше крепкое здоровье и воображение, – ответил он. – Набитая мошна дело хорошее, да ведь человеку этого мало.

– Не говорите «набитая мошна»! – воскликнула она с милой досадой. – Это вульгарно, ужасно.

Он побагровел.

– Да-да, верно, – заикаясь, пробормотал он, – и, пожалуйста, поправляйте меня каждый раз.

– Я... я с удовольствием... – Теперь уже она запнулась. – В вас столько хорошего, я хотела бы, чтобы вы избавились от недостатков.

И тотчас он обратился в глину в ее руках и также горячо желал, чтобы она лепила из него что хочет, как она желала перековать его наподобие своего идеала мужчины. И когда она заметила, что время сейчас для него удачное, вступительные экзамены в среднюю школу начинаются в следующий понедельник, он сразу же сказал, что будет их сдавать.

Потом она играла и пела ему, а он глядел на нее с тоской и жадностью, упивался ее прелестью и дивился, что ее не слушают сейчас, не томятся по ней сотни поклонников, как томится по ней он.



Глава 10

В тот вечер он остался обедать и, к удовольствию Руфи, произвел благоприятное впечатление на ее отца. Они говорили о моряцкой профессии, в чем Мартин разбирался отлично, и мистер Морз заметил потом, что гость произвел на него впечатление весьма здравомыслящего молодого человека. Мартин старался избегать матросского жаргона, подыскивал верные слова и оттого говорил медленно, зато успевал собраться с мыслями... Он держался свободнее, чем при первом знакомстве, почти год назад, и его застенчивость и скромность даже пришлось по вкусу миссис Морз, которой понравилась заметная в нем перемена к лучшему.

– Он первый мужчина, который привлек хоть какое-то внимание Руфи, – сказала она мужу. – До сих пор наша дочь была так не по возрасту безразлична к мужчинам, что я уже серьезно беспокоилась.

Мистер Морз пытливо посмотрел на жену.

– Ты постарайся, чтобы этот матрос ее разбудил? – спросил он.

– Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы она не осталась старой девой, – был ответ. – Если благодаря этому молодому Идену в ней проснется естественный интерес к мужчинам, это будет неплохо.

– Совсем неплохо, – отозвался муж. – Но предположим... а иной раз следует предполагать заранее, дорогая... предположим, в ней проснется интерес именно к нему?

– Невозможно! – Миссис Морз рассмеялась. – Она на три года старше его, и вообще это невозможно. Ничего такого не случится. Положись на меня.

Итак, роль Мартина была предопределена, а сам он тем временем затевал некое сумасбродство – на эту мысль его навели Артур и Норман. Воскресным утром братья отправляются на велосипедах в горы; сперва Мартина это никак не заинтересовало; но тут он узнал, что Руфь тоже ездит на велосипеде и участвует в прогулке. Сам он ездить не умел, и велосипеда у него не было, но раз она умеет, – значит надо и ему начать; и, распрощавшись вечером с Морзами, он по дороге домой зашел в магазин и выложил за велосипед сорок долларов. Это куда больше, чем он зарабатывал тяжким трудом за месяц, и кошелек его изрядно отошал; зато когда он прибавил сотню долларов, которую предстояло получить в «Наблюдателе», к четыремстам двадцати – уж меньше-то «Спутник юности» не заплатит, – он решил, что теперь можно не больно ломать голову, куда девать эдакую прорву денег. Не огорчился он и когда, надумав сразу же доехать на велосипеде домой, погубил костюм. В тот же вечер он из лавки Хиггинботема позвонил портному и заказал новый. Потом втащил велосипед по узенькой лестнице, которая, наподобие пожарной, примыкала к дому с тыла, отодвинул у себя кровать от стены, и оказалось, теперь в комнатухе только и поместятся он да велосипед.

Воскресенье он хотел потратить на подготовку к экзаменам в среднюю школу, но увлекся историей о ловцах жемчуга и весь день лихорадочно писал, воссоздавал из слов пламеневшую в нем красоту и не обыкновенные приключения. Рассказ об охотниках за сокровищами и в это утро не появился на страницах «Наблюдателя», но пыл Мартина не угас. Он унесся в недостижимые выси, не услышал, как его дважды позвали к столу, и остался без тяжеловесного обеда, который по воскресеньям неизменно украшал стол Хиггинботема. Такими обедами мистер Хиггинботем наглядно показывал, как он преуспел в жизни и сколь многого достиг, и по этому случаю неизменно раздражался препошлой речью во славу американских порядков и возможности выйти в люди, предоставленной благодаря этим порядкам каждому, кто в поте лица добывает хлеб свой, – а он сам, всякий раз напоминал он, уже вышел в люди, превратился из приказчика во владельца бакалейной лавки «Розничная торговля Хиггинботема за наличный расчет».

В понедельник утром Мартин Иден со вздохом глянул на неоконченных «Ловцов жемчуга» и поехал в Окленд в среднюю школу. А когда через несколько дней справился о результатах экзаменов, оказалось, что *он провалился по всем предметам, кроме английского языка.*



Здесь Лондон расходится с фактами собственной биографии: судя по сохранившимся свидетельствам, и в Оклендской средней школе, и в университете он учился весьма неплохо, а с подготовительных курсов в Университетской академии ушел по настоянию ее главы мистера Андерсона, который считал, что абитуриент слишком энергично взялся за дело, вознамерившись пройти двухгодичный курс обучения за четыре месяца.

– Вы превосходно владеете родным языком, – сообщил преподаватель Хилтон, пристально глядя на него через толстые стекла очков, – но по всем остальным предметам вы не знаете ничего, ровным счетом ничего, а что касается истории Соединенных Штатов, ваше невежество чудовищно, просто чудовищно, иначе не скажешь. Я посоветовал бы вам...

Хилтон замолчал и, одаренный сочувствием и воображением не больше, чем какая-нибудь из его пробирок, уставился на Мартина. Он преподавал в средней школе физику, весьма мало зарабатывал, обременен был большим семейством и солидным запасом тщательно заученных, но отнюдь не осмысленных знаний.

– Слушаю вас, сэр, – почтительно сказал Мартин, думая, что лучше бы на месте Хилтона сейчас оказался человек из справочного отдела библиотеки.

– Я посоветовал бы вам вернуться в неполную среднюю школу по крайней мере года на два. Прощайте.

Провал этот не слишком огорчил Мартина, и он изумился, увидев, как омрачилось лицо Руфи, когда она услышала совет Хилтона. Она была так явно разочарована, что он и сам огорчился, но больше из-за нее.

– Вот видите, я была права, – сказала она. – Вы знаете гораздо больше любого из тех, кто поступает в старшие классы, а экзамены не выдержали. Все оттого, что знания у вас отрывочные, случайные. Вам необходимо систематическое образование, его могут дать лишь опытные учителя. Вам надо изучить самые основы. Мистер Хилтон прав, и на вашем месте я поступила бы в вечернюю школу. За полтора года вы пройдете там двухлетний курс. Кроме того, дни у вас останутся свободными и вы сможете писать или, если не сумеете этим зарабатывать на жизнь, будете где-нибудь служить.

«Но если дни уйдут на работу, а вечера на школу, когда же мне видеться с вами?» – прежде всего по думал Мартин, но от вопроса удержался. И вместо этого сказал:

– Как-то это по-ребячьи – учиться в вечерней школе. Но это бы ладно, был бы толк. А по-моему, толку не будет. Сам я выучусь быстрее, чем с учителями. На школу уйдет прорва времени, – он подумал о Руфи, он так жаждет ее завоевать, – не могу я терять время зря. Нет у меня лишнего времени.

– Вам необходимо еще очень многое узнать. – Руфь смотрела участливо, и Мартина кольнула совесть: какая же он скотина, что не соглашается с ней. – Физикой и химией без лабораторных занятий овладеть нельзя, а в алгебре и геометрии, как вы сами убедитесь, тоже невозможно разобраться без учителей. Вам нужны опытные преподаватели, специалисты, владеющие искусством передавать знания.

Он помолчал, подыскивая слова, которые не прозвучали бы похвалой.

– Вы не подумайте, что я хвастаюсь, – начал он. – Ничего похожего. А только сдается мне, у меня, можно сказать, дар учиться. Я могу заниматься сам. Я тут как рыба в воде. Вы сами видите, как я справился с грамматикой. И я еще много чему выучился, вы даже не представляете, сколько я всего узнал. И это я только начинаю. Дайте срок, я... – он запнулся, хотел увериться, что говорит правильно, – я наберу темп. Это еще первые шаги. Я только начинаю кумекать...

– Пожалуйста, не говорите «кумекать», – прервала Руфь.

– Смекать, – поспешно поправился он.

– Лучше обходиться без этого слова, – возразила она.

Он все барахтался, стараясь выплыть.

– Я куда гну, я только начинаю соображать, что тут к чему.

Из жалости она воздержалась от замечания, и Мартин продолжал:

– Сдается мне, знания – они вроде штурманской рубки. Как приду в библиотеку, всегда про это думаю. Дело учителей по порядку растолковать ученикам все, что есть в рубке. Учителя – проводники по штурманской рубке, вот и все. Ничего нового они тут не выдумывают. Не они все это сработали, не они создали. В рубке есть карты, компас, все, что надо, а учительское дело – все новичкам показать, чтоб не заблудились. Ну а я не заблужусь. Я уж дорогу распознаю. Почти всегда знаю, где я есть... опять не так сказал?

– Выражение «где я есть» неправильное.

– Ну да, – с благодарностью согласился Мартин. – Я почти всегда знаю, где я. Так где же я? Да в штурманской рубке. А некоторым, видать...

– Наверно, – поправила она.

– Некоторым, наверно, нужны проводники... почти всем, а я так думаю, я могу обойтись без них. Я уже сколько времени пробыл в рубке и вот-вот научусь разбираться, соображу, какие мне нужны карты, какие берега я хочу исследовать. Раскинул я мозгами и вижу: сам я, один, справлюсь куда быстрее. Известно ведь, ход эскадры применяется к скорости самого тихоходного корабля, ну и с учителями так же. Нельзя им идти быстрее рядовых учеников, а я пойду своим шагом и обгону их.

– «Тот шагает быстрее, кто шагает один»¹⁶, – процитировала Руфь.

«А с вами я все равно бы шагал быстрее», – готов был выпалить Мартин, и ему уже представились бескрайние, залитые солнцем просторы и полные звезд бездны, и он плыл там вместе с нею, обхватив ее рукой, и ее светло-золотистые волосы льнули к его лицу. И в тот же миг он осознал свое жалкое косноязычие. Господи! Если бы он мог передать ей словами то, что видел сам! Взволновало, мучительной тоской отозвалось желание нарисовать те картины, что, незванные, вспыхивали в зеркале памяти. А, вот оно! Тайна приоткрылась ему. Вот что, оказывается, делали великие писатели и замечательные поэты. Вот почему они стали титанами. Они умели выразить то, что думали, чувствовали, видели. Дремлющие на солнцепеке собаки часто скулят и лают, но они не способны рассказать, что же им привиделось такое, отчего они заскулили и залаяли. Он часто гадал, что же они видят. Вот и сам он – всего лишь дремлющий на солнцепеке пес. Он видит величественные, прекрасные картины, но, чем пересказать их Руфи, только и может скулить да лаять. Нет, больше он не станет дремать на солнце. Он поднимется, стряхнет с себя сон и будет стараться изо всех сил, работать не покладая рук, учиться – пока не прозреет, не заговорит, пока не сумеет разделить с ней богатство запечатленных в памяти картин. Открыли ведь другие секрет выразительности, обратили слова в послушных слуг, ухитряются так их сочетать, что вместе слова эти значат куда больше, чем сумма их отдельных значений. Мартина глубоко взволновала приоткрывшаяся ему тайна, и опять засияли перед ним залитые солнцем просторы и звездные бездны... А потом он заметил, какая стоит тишина, и увидел, что Руфь весело смотрит на него и глаза ее смеются.

– Я грезил наяву, – сказал он, и от звука этих слов екнуло сердце. Откуда взялись у него такие слова? Они совершенно точно выразили то, из-за чего прервался их разговор. Произошло чудо. Никогда еще не выражал он возвышенную мысль так возвышенно. Но ведь он никогда и не пытался облечь в слова возвышенные мысли. Вот именно. Теперь все понятно. Он никогда не пробовал. А Суинберн пробовал, и Теннисон, и Киплинг, и все другие поэты. В уме промелькнули «Ловцы жемчуга». Он ни разу не осмелился заговорить о важном, о красоте, которой был одержим, – об этом источнике его вдохновения. Он вернется к истории о ловцах жемчуга, и она станет совсем другая. Беспредельность красоты, что по праву наполняла эту историю, поразила его, и опять он загорелся и осмелел и спросил себя, почему не воспеть эту красоту прекрасными стихами, как воспевали великие поэты. А вся непостижимая прелесть, вдохновенный восторг его любви к Руфи! Почему не воспеть и любовь, как воспевали великие поэты? Они складывали стихи о любви. Сложит и он. Черт побери...

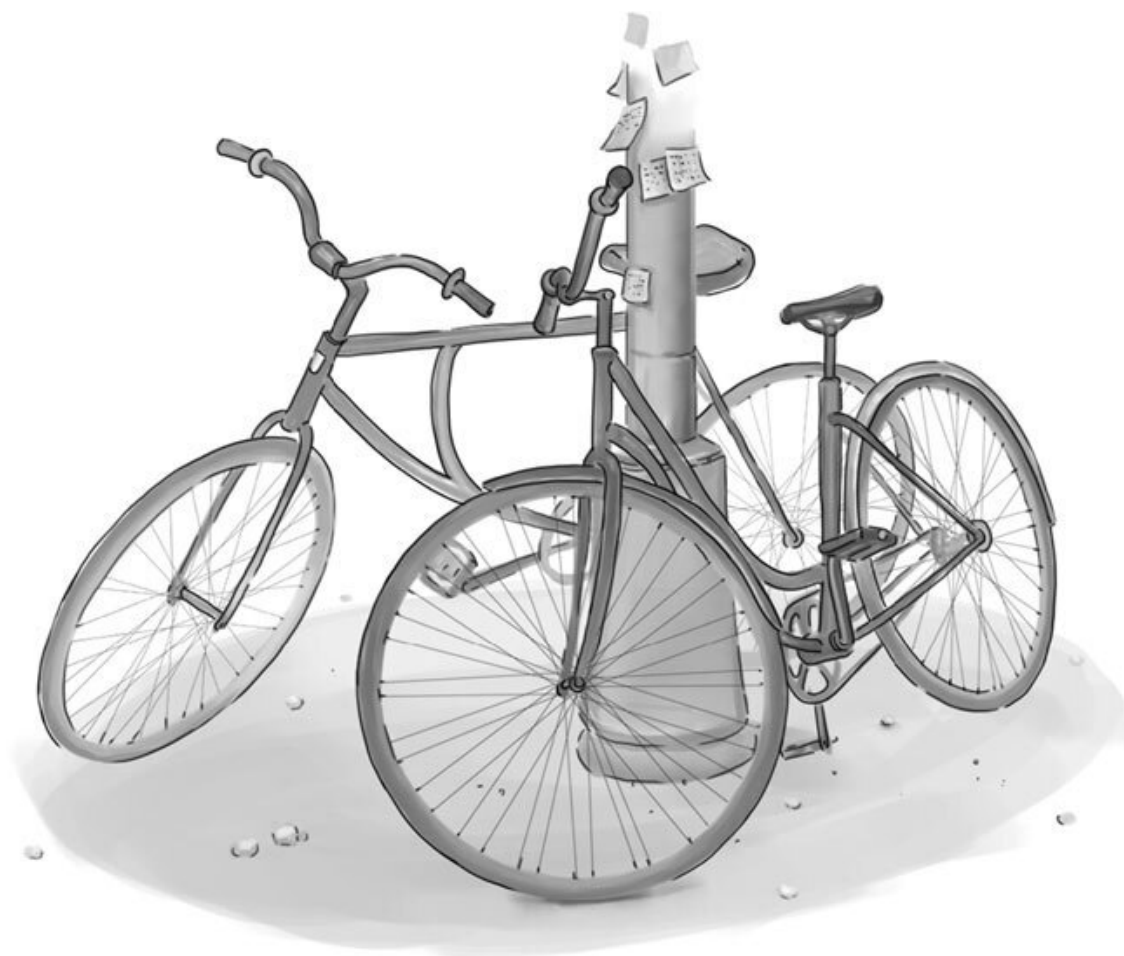
Со страхом он услышал, как этот возглас отдался в ушах. Замечтавшись, он чертыхнулся вслух. Кровь бросилась в лицо, хлынула волнами, поглощая бронзу загара, и вот уже краска стыда разлилась по шее до самого воротничка и вверх, до корней волос.

– Я... я... простите меня, – пробормотал он. – Я задумался.

– А прозвучало это у вас как будто молитесь, – храбро ответила Руфь, но внутренне вся сжалась, похолодела. Впервые при ней выругался знакомый человек, и она была возмущена – не только из принципа и не от благовоспитанности, – буйный порыв жизни, ворвавшийся в отгороженный от всего грубого сад ее девичества, глубоко ее оскорбил.

Но она простила и удивилась, как легко ей было простить. Отчего-то прощать ему оказалось совсем нетрудно. У него не было возможности стать таким, как другие мужчины, и он так старается и делает успехи. Она и не подозревала, что ее снисходительность к нему может быть вызвана какими-то иными причинами. Да и как ей было понять. До двадцати четырех лет она прожила в безмятежном равновесии, ни разу даже не влюбилась, а потому не умела разбираться в своих чувствах; не испытывала еще жара настоящей любви, не сознавала, что сейчас в ней разгорается любовь.

¹⁶ Цитата из стихотворения Киплинга «Победители» (1888), где эта строка является рефреном.



Глава 11

Мартин опять вернулся к «Ловцам жемчуга» и давно бы уже покончил с ними, если бы то и дело не отрывался, пытаясь писать стихи. Его вдохновляла Руфь, и стихи он писал любовные, но ни одного не завершил. Высоким искусством поэзии за день не овладеешь. Рифма, ритм, композиция стиха уже сами по себе достаточно сложны, но, кроме этого, сверх этого, есть и еще что-то неуловимое, ускользающее, он ощущал это во всех прекрасных стихах великих поэтов, а поймать, заключить в свои стихи не мог. То был сам непостижимый дух поэзии, Мартин чувствовал его близость, охотился за ним, но тот не давался. Казалось, это жаркое сияние, обманчивый уплывающий туман, до которого не дотянуться, лишь изредка вдруг посчастливится ухватить несколько прядей и сплести из них строчки, которые звенели внутри неотступным эхом или проплывали перед мысленным взором воздушными видениями неправдоподобной красоты. Это было горько. Он жаждал высказать себя, а получалась обыкновеннейшая болтовня, такое мог всякий. Он читал написанное вслух. Уверенной поступью шагнул размер, рифма подхватывала, отбивала столь же безукоризненный ритм, но не было в них ни жара, ни высокого волнения, которое ощущал в себе Мартин. Не мог он этого понять и, в отчаянии, поверженный, угнетенный, снова и снова возвращался к очерку. Конечно же, проза – более легкий способ высказаться.

После «Ловцов жемчуга» он написал очерк о море, и о жизни матросов, и об охоте на черепаха, и еще о северо-восточных пассатах. Потом попробовал себя в рассказе и с ходу написал шесть рассказов и разослал их в разные журналы. Он писал много, усердно, с утра до вечера, до поздней ночи, отрывался, лишь чтобы пойти в читальню, в библиотеку за книгами или к Руфи. Он был поистине счастлив. Жизнь была полна как никогда. Пламя, горевшее в нем, не слабело ни на миг. К нему пришла радость созидания, та, которой будто бы владеют только боги. Все, что было вокруг – запах гниющих овощей и мыльной пены, неряшливый вид сестры, злорадная ухмылка Хиггинботема, – просто сон. Подлинная жизнь шла у него в голове, и каждый рассказ был частицей этой подлинной жизни.

Дня не хватало. Столько всего хотелось узнать. Он урезал сон до пяти часов, и оказалось, этим вполне можно обойтись. Попробовал спать четыре с половиной часа и с сожалением вернулся к пяти. Он бы с радостью посвятил все остающееся от сна время любому из своих занятий. Жаль было отрываться от сочинительства ради ученья, отрываться от ученья и идти в библиотеку, приходилось гнать себя из штурманской рубки знаний или из читальни, от журналов, полных секретами мастерства тех, кто сумел продать плоды трудов своих. Что-то рвалось в нем, когда надо было встать и уйти от Руфи, но по темным улицам он не шел, а мчался, спеша скорее попасть домой, к своим книгам. А труднее всего было захлопнуть учебник алгебры или физики, отложить книгу и карандаш, закрыть усталые глаза и уснуть. Самая мысль, что надо выключиться из жизни, даже так ненадолго, была ненавистна, и утешало одно, что уже через пять часов зазвенит будильник. Все же он потеряет не больше пяти часов, а потом трезвон вырвет его из беспмятства, и начнется новый чудесный день длиной в девятнадцать часов.

Тем временем шла неделя за неделей, деньги таяли, а новых доходов не было. Через месяц после того, как он послал в «Спутник юношества» приключенческую повесть для мальчишек, рукопись ему вернули. Отказали в самых деликатных выражениях, и Мартин ничуть не обиделся, решил, что редактор славный малый. Совсем иные чувства вызвал у него редактор «Сан-францисского наблюдателя». Прождав ровно две недели, Мартин ему написал. Еще через неделю написал опять. На исходе месяца поехал в Сан-Франциско и направился к редактору. Но увидеться с этой высокой персоной не удалось, помешал охранявший врата цербер¹⁷ –

¹⁷ Цербер – здесь: страж, охранник.

рыжий мальчишка-рассылный. К концу пятой недели рукопись вернулась по почте, без единого сопроводительного слова. Ни письменного отказа, ни объяснения, ничего. Так же поступили с его материалами и прочие ведущие сан-францисские газеты. Получив рукописи, Мартин послал их в журналы восточных штатов, но их вернули и того быстрее, в сопровождении печатных бланков с отказом.

Так же вернулись и рассказы. Мартин читал их и перечитывал, они нравились ему, очень нравились, он просто понять не мог, почему их отвергают, пока однажды не прочел в какой-то газете, что рукописи должны быть перепечатаны на машинке. Все стало ясно. Ну конечно, редакторы так заняты, у них нет ни времени, ни сил разбираться в чужом почерке. Он взял напрокат пишущую машинку и за один день научился печатать. Каждый день теперь он перепечатывал написанное за день, а прежние рукописи перепечатывал, как только они возвращались. К немалому его удивлению, стали приходить обратно и те, что он отпечатал на машинке. Казалось, челюсть у него стала еще упрямей, подбородок выпятился воинственной, и он отправил рукописи в другие редакции.

Подумалось, что он не судья своим же сочинениям. Он попробовал, как отнесется к ним Гертруда. Прочел ей вслух рассказ. Глаза у нее заблестели, она посмотрела на него с гордостью и сказала:

- Знато, вон ты, стало быть, чего пишешь.
- Да, да. А рассказ... нравится он тебе? – нетерпеливо спросил Мартин.
- Знато, а как же, – был ответ. – Знато, страх как интересно.

Мартин, однако, заметил, сестру что-то смущает. На ее добродушном лице все ясней проступало недоумение. И он ждал.

– Слышь, Март, – после долгого молчания, – а чем дело-то кончилось? Этот молодой, он еще все пыжится, чудно так разговаривает, досталась она ему?

Он объяснил развязку, написанную, как ему казалось, мастерски и вполне понятно, и сестра сказала:

- Во-во, я это и хотела знать. Чего ж ты так прямо не написал?

Он прочел ей не один рассказ и не два и уяснил себе одно: ей нравятся счастливые концы.

– Знатный рассказ, рассказ что надо, – объявляла она – отрывалась от корыта, распрямляла спину, красной распаренной рукой отирала потный лоб, – а только запечалилась я. Плакать охота. Печалей этих кругом и так полно. Вот про чего хорошее подумаешь, тогда и самой вроде хорошо. Слышь, а что б ему жениться на ней и... Ты не в обиде, Март? – опасливо спрашивала она. – Устала я, потому, видать, и хочется хорошего. А все одно, знатный рассказ... знатный, а как же. И куда ж ты его запродашь?

- Ну, это уж другое дело, – засмеялся Мартин.

– Нет, а как и впрямь запродашь, сколько, думаешь, дадут?

– Да уж сотню. Никак не меньше, такие нынче цены.

– Ишь как! Вот бы и впрямь запродать.

– Легкие денежки, а? – Потом с гордостью прибавил: – Это я за два дня написал. Выходит, полсотни долларов в день.

Он страстно хотел прочесть свои рассказы Руфи, но не смел. Надо подождать, пускай сперва хоть несколько напечатают, решил он, тогда она поймет, чего ради он трудился. Тем временем он продолжал усиленно заниматься. Никогда еще дух приключений не манил его так неодолимо, как во время этих поразительных странствий в царстве разума. Он купил учебники по физике и химии и не оставлял занятия алгеброй, решал теперь и новые задачи, вникал в опыты. Результаты лабораторных работ он принимал на веру, а могучая сила воображения помогала ему представлять реакции химических веществ яснее, чем рядовому студенту во время опытов в лаборатории. Мартин поглощал страницы, несущие груз знаний, и, ошеломленный, обретал ключи к природе вещей. Прежде он воспринимал мир не задумываясь,

а теперь постигал, как все в этом мире устроено, как связаны, взаимодействуют энергия и материя. В сознании постоянно вспыхивали объяснения то одного, то другого, что было давно знакомо. Он думал, как это мудро и просто – рычаг, блок, вспоминал корабельные лебедки, ганшпуги¹⁸, тали. Теперь ему понятна стала теория навигации, благодаря которой корабли безошибочно находят путь в морских просторах, где нет ни дорог, ни вех. Ему открывались секреты штормов, и дождей, и приливов, и причины возникновения пассатов, и он задумался, не поспешил ли он со своим очерком о северо-восточном пассате. Сейчас-то он, конечно, написал бы лучше. Раз он побывал с Артуром в Калифорнийском университете, затаив дыхание, исполненный благоговения, прошел по лабораториям, смотрел, как делаются опыты, и слушал лекцию профессора физики.

Но сочинительство он не забросил. Поток рассказов не иссякал, и еще он начал писать стихи попроще, какие встречал в журналах, но однажды, потеряв голову, попусту потратил две недели – написал белыми стихами трагедию и был огорошен, когда ее тотчас отвергли шесть журналов. Потом он открыл для себя Хенли и по образцу его «Больничных зарисовок» написал цикл стихов о море. Незамысловатые эти стихи полны были света, красок, романтики, приключений. Он назвал их «Голоса моря», и ему казалось, ничего лучше он еще не писал. Стихотворений было тридцать, Мартин написал их за месяц, сочиняя по одному в день, после окончания дневной работы над прозой, а прозы он за день писал столько, сколько обычный преуспевающий автор пишет за неделю. Труд не пугал его. Да это разве труд! Он обретал дар речи, и вся красота и чудо, что годами копились в его немой донине, косноязычной душе, теперь полились живым неукротимым потоком.

Уильям Эрнест Хенли (1849–1903) – английский поэт, прозаик, журналист, критик и издатель. «Больничные зарисовки» – цикл стихотворений, основанный на авторском опыте пребывания в Королевском госпитале Эдинбурга в 1873–1875 гг.; публиковался в трех различных версиях: «Больничные наброски: зарисовки и портреты» (1875), состоящие из 18 лирических миниатюр, «Больничные зарисовки» (1887) – подборка из 13 стихотворений, написанных свободным стихом, и, наконец, серия «В госпитале: Рифмы и ритмы» (1888), включающая 28 текстов.

«Голоса моря» он не показал никому, даже редакторам. Он им больше не доверял. Но не от недоверия не представил он «Голоса» на их суд. Такими прекрасными казались ему эти стихи, что он хотел приберечь их до того далекого лучезарного дня, когда решится прочесть их Руфи и разделить их с ней. А пока он хранил их у себя, читал вслух, возвращался к ним снова и снова и под конец уже знал на память.

Он жил полной жизнью каждое мгновение; не только наяву, но и во сне, все эти пять часов, ум его бунтовал против передышки и претворял мысли и события дня в нелепые, невыносимые сновидения. В сущности, он никогда не отдыхал, и организм менее выносливый, мозг не столь уравновешенный не выдержали бы, сломились. Он теперь реже бывал вечерами у Руфи: приближался июнь, скоро ей сдавать экзамены на степень бакалавра, и она окончит университет. Бакалавр искусств! Он думал о ее ученой степени, и ему казалось, она слишком далеко умчалась, не догнать.

Один вечер в неделю она дарила ему, и он приходил поздно и обычно оставался обедать, а потом слушал, как Руфь играла на фортепьяно. То были праздники. Атмосфера дома Морзов, так резко отличающаяся от той, в какой жил Мартин, и сама близость Руфи укрепляли решимость взобраться на те же высоты. Не красота, живущая в нем, двигала им, не острое желание творить – он сражался ради нее. Он прежде всего и превыше всего любил. Все остальное

¹⁸ Ганшпуг (аншпуг, вымбовка) – выемной деревянный или металлический рычаг, применяемый для подъема и перемещения тяжестей на судне.

он подчинил любви. Отвага любящего затмила отвагу искателя знаний. Ведь мир изумлял не столько тем, что состоял из атомов и молекул, движимых необоримой силой, сколько тем, что в нем жила Руфь. Она была изумительнее всего, что он знал, о чем мечтал, о чем догадывался.

Но его удручала разделявшая их пропасть. Так далека была от него Руфь, он не знал, как к ней подступиться. У девушек и женщин своего круга он пользовался успехом, но ни одну из них никогда не любил, а ее любил, и она была не просто из другого мира. Сама его любовь вознесла ее над миром. Она совсем особенная, она так на всех не похожа, что, подобно всякому влюбленному, стремясь к близости с ней, он совершенно не знал, как это сделать. Правда, обретая знания и дар речи, он становился ближе к ней, говорил на ее языке, находил общие с ней мысли и радости, но это не утоляло острую любовную тоску. Воображение влюбленного окружало ее ореолом святости – слишком она святая, чистый, бесплотный дух, и не может быть с ней близости во плоти. Как раз его любовь и отодвигала ее в недостижимую даль. Сама любовь отказывала ему в том единственном, чего жаждала.

А потом однажды, внезапно, через разделявшую их пропасть на миг был перекинут мост, и с той поры пропасть стала не такой широкой. Они ели вишни, огромные, сочные, черные вишни, исходившие темно-красным соком. А после она читала ему вслух «Принцессу» Теннисона, и вдруг Мартин заметил у нее на губе вишневое пятнышко. На миг она перестала быть божеством. Она же из плоти и крови, из обыкновенной плоти, как он и как все люди, те же законы правят и ее телом. У нее такие же губы, как у него, и их тоже окрасила вишня. А если так с губами, значит, и с ней со всей. Она женщина, вся как есть, просто-напросто женщина. То было внезапное откровение. И оно ошеломило его. Будто у него на глазах солнце упало с неба, или он увидел оскверненную святыню.

А потом он понял, что же это означает, и сердце заколотилось, требуя вести себя с этой женщиной, как подобает влюбленному, ведь она вовсе не дух из иных миров, она просто женщина, вишневый сок оставил след на ее губах. Дерзкая мысль эта бросила его в дрожь, а душа пела, и ликовал разум, убеждая его, что он прав. Руфь, видно, уловила какую-то перемену в нем и перестала читать, подняла голову, улыбнулась. Он перевел взгляд с ее голубых глаз на губы – вишневое пятнышко сводило его с ума. Он чуть было не рванулся к ней, не обнял, как обнимал других прежде, когда жил беспечно, как жилось. Ему казалось, она подалась вперед, ждала, и он удержался лишь огромным усилием воли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.